




**В. С. Соловьев**



**Касимовская  
невеста**



## **Annotation**

«Касимовская невеста» – роман-хроника XVII века повествует об истории любви и женитьбы молодого царя Алексея Михайловича. Одна из героинь романа – Евфимия Всеволожская, дочь касимовского дворянина.

---

**Всеволод Сергеевич Соловьев**  
**Касимовская невеста**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

После долгого осеннего ненастья наконец стала зима 1646 года. Два дня и две ночи в безветренном воздухе падал снег, и выпало его довольно, потом прихватило и сковало морозцем. Потом выглянуло солнце и все загорелось, заблестело. Глаза слепило от яркого света. Мороз не прибывал, но и не уменьшался. Путь установился сразу.

По дороге из Москвы в пригородное село Покровское с раннего утра шло и ехало много всякого люду – молодой царь Алексей Михайлович считал встречу зимы одною из любимых потех своих. Еще за три дня было объявлено по Москве, что в селе Покровском будет львиное зрелище и медвежья травля и что никому, не токмо что боярам и всяким дворцовым людям, но и всем вообще жителям Москвы невозбранно присутствовать на этих царских потехах.

Такое известие Москва приняла с большой радостью: уж очень по нраву всем была медвежья травля, а про львиное зрелище и говорить нечего: лев – зверь редкий, многими совсем не виданный. Привезли его недавно царю в подарок из Кизылбаша, из Персии. Поместили в яме у стены Китайгородской. По целым часам толпы стояли у ямы, видеть ничего не видели, но зато рыкание львиное слышали и оставались этим довольны. А вот теперь и самого этого заморского лютого зверя видеть можно: ну и хлынула вся досужая Москва в село Покровское.

Колымаги за колымагами, сани за санями так и катятся по первопутью. Бояре, весь чин дворцовый, дворяне московские, служилые люди, из купцов тоже немало – всякий разрядился в праздничное платье, изукрасил своих коников, повешал ковров на широкие сани: тоже нужно и себя показать, в грязь лицом не ударить.

Большие были приготовления к празднику в Покровском. Сначала, как весть прошла о царской потехе, отцы и мужья сразу объявили, что бабам да девкам ехать не следует. Но бабы и девки были на это других взглядов. Они так пристали, так улещали, так упрашивали своих владык домашних, что те наконец, в большинстве случаев, должны были сдаться.

И вот по дороге в Покровское спешат не одни добрые молодцы и старцы, а и дебелие матери семейств и румяные, свежие, как морозное зимнее утро, московские красавицы. Само собою, лица их прикрыты фатой блестящей, сами они закутаны в шубки меховые, и стороннему человеку не увидеть, не разглядеть, сколько красоты и молодости, сколько разжиревшей или высохшей старости заключается в этих огромных грузных колымагах.

Но все же кое-кому поданы весточки, кое-кто с замиранием сердца и с светлою молодою грезой, бросив все дела и заботы, спешит в Покровское, хорошо зная, на какую закутанную, облик человеческий потерявшую фигуру следует глядеть глаз не отрывая, из-за какой фаты непроницаемой будут взглядывать с любовью и ласкою молодые глазки. И никакая строгость нравов и обычаев, никакая зоркость родительского присмотра не помешают кое-кому втихомолку и перешепнуться, и улучшить счастливое мгновение для быстрого, крепкого и сладкого пожатия нежной ручки. Только после этого пожатия не придется спрятать за пазуху маленькой записочки – нежная белая ручка писать не умеет, да и не нуждается ни в каком писанье. Шустрая девчонка из прислужниц, а то так и сама хитрая старая мамка, падкая до подарочков, лучше всяких записочек передадут кому следует и слово нежное, и название одного из благолепных храмов московских, где можно встретиться...

Время близится к полудню; ноябрьский день короток – спешить надо. И спешат, перегоняя друг друга, колымаги и сани.

Вдруг по всему широкому пути смятение: колымаги и сани сворачивают в сторону и останавливаются. Несколько вершников на лихих конях мчатся что есть духу и кричат зычным голосом: «Царь едет!» И точно, из-за поворота дороги, вся в ярких лентах и бубенчиках, вылетает тройка чудных коней.

В расшитых, изукрашенных коврами и причудливой резьбой санях широких, прикрытых богатой медвежьей полстью, видны две мужские фигуры, закутанные в собольи шубы и в высоких шапках. Хорошо знакомы в Москве два лица эти, – одно уже не первой молодости, благообразное и разумное, да и не без некоторого лукавства во взгляде. Другое лицо красоты поразительной, с ясными небесного цвета глазами, с ласковой улыбкой и милыми, совсем еще детскими, ямочками на румяных щеках.

Тройка мчится, обдавая всех направо и налево снежной пылью. Все ломают шапки и низко кланяются.

Красавец юноша отвечает на поклоны. Его товарищ с важной, величественной осанкой тоже раскланивается.

Промчалась тройка, и за нею трогаются все остановившиеся колымаги и сани, и идет между москвичами всякого рода и звания, пола и возраста оживленный говор.

– Ишь, красотой какую наделил Господь царя нашего батюшку, Алексея Михайловича!... что девица красная, наш голубчик!..

– А боярин-то Борис Иванович Морозов, – замечают другие, – важность-то какая, сам, словно царь, раскланивается! Поди, чай, думает, коли бы один-то ехал, так и ему стали бы все кланяться... как же!..

– Ну да что тут, думай не думай, а тепло ему под царскую полстью. Люб ли он кому, нет ли, ему и горя мало. Что хочет, то и делает, всем заправляет. Государь молодой его как отца родного почитает. Да и отец-то, блаженной памяти государь Михаил Федорович, на смертном одре сыну наказывал: почитай-де и во всем слушайся Морозова-боярина, он тринадцать-де лет при тебе неотлучно, воспитал тебя, и такого-де слуги и советника тебе не сыскать. Счастье боярину, счастье великое, что и говорить, другому такого и во сне не привидится!..

Не красны царские палаты в селе Покровском, но любил, бывало, покойный царь Михаил Федорович наезжать сюда и тешиться разными забавами.

Перед палатами двор большой устроен, а на нем отгорожено место для звериной травли. Кругом того места скамьи для зрителей поставлены. Теперь эти скамьи просто ломаются, так много из Москвы наехало.

Бояре с боярынями и боярышнями места заняли, а те люди, что помельче чином, за их спинами теснятся, снег приминают в ожидании потехи.

Для государя с приближенными его на крыльце выставлены скамьи, покрытые ярким сукном и парчою.

К загороженному для травли месту ведет крытый, из досок сколоченный переходец: по этому-то переходцу зверей выведут. Оттуда

уже раздается дикий звериный рев, заставляющий вздрагивать женщин и подзадоривающий любопытство мужчин.

Ворота заперты. Никого больше во двор не пускают, да и некуда, и без того давка страшная.

Вот на крыльцо наконец вышел молодой царь с боярином Морозовым и толпой царедворцев.

Он ласково поклонился всем собравшимся и, весело разговаривая с окружающими, присел на свою скамью царскую.

Тучный седовласый боярин, земно кланяясь царю, объявил, что все готово для начала потехи.

– Ладно, так пускай начинают! – расслышала присмирившая толпа звонкий, почти еще детский голос.

Где– то в сенях, за дощатым переходом, послышался оглушительный рев, и через мгновение перед изумленными зрителями в загороженном, но со всех сторон открытом для взоров месте показался лев.

Женщины не стерпели и ахнули, многие так и совсем завизжали и стали прятаться за отцовские и мужнины шубы.

«А ну как прыгнет через загородку, да на нас!» – думала каждая из них.

То же, наверное, думали и многие мужчины, но старались, конечно, казаться спокойными.

Лев, однако, и не помышлял перепрыгивать через перегородку: он стоял очень смиренно на месте, дрожа своим крепким, огромным телом и медленно встряхивая гривой. Перед ним в спокойной и непринужденной позе, с длинной плетью в руке поместился его «хозяин», привезший его из Кызылбаша. Это был бойкий детина атлетического телосложения с длинной черной бородою. Он называл себя Ильюшкой Микотиным, но никто не мог наверное сказать, кто он и откуда. Знали только, что привез он зверя невиданного царю в подарок – и царь так обрадовался, что наградил Микотина сукном на однорядку да на кафтан и деньгами пожаловал ему три рубля с полтиною. А затем он был оставлен при льве и давались ему «корм и помещенье».

– Может, и разбойник какой и душегубец, – говорили про Микотина, – да поневоле придется держать его, один он умеет со



львом управляться. Лев-то, слышь, ему как малый ребенок покорствуется...

Вот и теперь, поглядел он несколько мгновений прямо в глаза льву, дернул своей плеткой, лев тихонько зарычал и лег перед ним, положив прямо на снег свою громадную, мохнатую голову.

Микотин крикнул какое-то непонятное слово и тихо пошел, мерно шагая вокруг всей изгороди. Лев послушно пополз за ним. Зрители дивились немало.

– Этакого-то зверя страшного и приручил, гляди как! Премудрость!

Недолго, однако, тянулась львиная потеха. Морозу было около пяти градусов, и льва жалели. Его перевезли в Покровское в теплой клетке только для того, чтобы он показался царю и зрителям.

Главная потеха была впереди – медвежья травля.

Когда льва увели за загородку, вышло несколько человек охотников. Их выход был встречен громким одобрением со стороны зрителей. Эти охотники по всей Москве славились. Им уж не впервой приходилось выказывать чудеса ловкости, силы и смелости на медвежьей травле. Все они были одеты в короткие кафтаны, высокие сапоги и низкие меховые шапки с ушами. Вооружение их состояло из рогатины или ножа. Они подошли ближе к царскому крыльцу, поклонились царю и ждали, кому из них он назначит бороться со зверем.

Алексей Михайлович приподнялся с места и весело кивнул им головою.

– Все налицо, – сказал царь, – и ты, старина, здесь, Богдан Озорной!

Старик охотник, к которому обратился царь, еще раз поклонился в пояс и подтолкнул двух молодцов.

– А вот, батюшка государь, – проговорил он густым басом, – привел сынков двух своих, Никифора да Якова, прикажи и им потешить твою царскую милость.

Два рослых, здоровых парня, переминаясь с ноги на ногу, неловко стояли и поглядывали исподлобья, то и дело кланяясь.

– Не раз приводилось мне потешить государя батюшку, царя Михаила Федоровича, – продолжал Богдан Озорной, – и милость я его государскую к себе не раз видел, а ноне, вишь ты, старость одолевать

стала, да и рука вот десная, как в позапрошлом лете помял ее мохнатый, что-то неладно ходит. Так, может, парни замест меня теперь потешат твои царские очи.

– Ладно! – сказал Алексей Михайлович. – Который из них старше-то? Пусть он и начинает, а мы посмотрим...

Охотники один за другим исчезли в крытом переходе. На арене остался только Никифор Озорной.

Он огляделся – кругом стена, стена крепкая, которую не сломаешь, через которую не перепрыгнешь в случае опасности. Но он не думал об опасности, он спокойно ожидал противника и отошел на ту сторону круга, которая была как раз против дворец крытого перехода.

Прошло несколько мгновений, зрители затаили дыхание.

На крыльце царском старые и молодые бояре сидели величаво, неподвижно.

Царь Алексей Михайлович нетерпеливо, сам не замечая того, слегка притопывал ногою и не мигая смотрел прямо на арену.

Вот близко, совсем близко раздался глухой рев, дверцы распахнулись, и громадный медведь показался оттуда. Медленно качая головою и изумленно оглядываясь по сторонам, он, очевидно, сразу не мог понять, где он и что это делается вокруг него. Но вот его маленькие, злобно горящие глаза остановились на человеке, бывшем перед ним на таком близком расстоянии. Медведь дрогнул, грозно зарычал, поднялся на задние лапы и прямо пошел на человека.

Как будто электрическая искра пробежала между зрителями. Опять раздались женские взвизгиванья, но уже никто не обращал на них внимания: все глядели, раскрыв рты и затаив дыхание, на арену.

Никифор Озорной быстро перекрестился, выставил вперед рогатину, отставил ногу и, напрягшись всеми мускулами, ждал противника. Медведь был уже совсем перед ним: неловкое движение, дрогнет рука, не хватит силы – и все пропало: зверь кинется на человека и начнет ломать его... Но Никифор не дрогнул, только глаза его странно, лихорадочно горели. В нем самом проснулся зверь, проснулись злость и отвага. Ловким движением он направил рогатину и сразу всадил ее в грудь медведя, между двумя передними лапами.

Радостный гул пронесся по двору.

Царь невольно привстал со своего места и перекрестился.

Медведь ревел отчаянно и напирал на охотника. Но тот стоял неподвижно, не дрогнув ни одним могучим членом, крепко держал рогатину у ноги своей тупым концом, а острый все глубже и глубже входил в грудь зверя. Кругом белый снег уже начинал обагряться кровью, от которой шел легкий пар в морозном воздухе.

Медведь еще продолжал стоять. Его рев раздавался все громче и громче, но теперь в этом реве слышались совсем новые звуки. Еще миг, еще одно неуловимое движение со стороны Никифора – и громадный зверь повалился всей своей тушей. Зрители закричали, заволновались. Теперь уже победа человека решена, самое важное сделано. Бой почти окончен, медведь погиб.

И действительно, медведь погиб, и торжествующий Никифор Озорной, забрызганный алой, горячей кровью, с побледневшим, но счастливым лицом стоял перед скамьей царской, и молодой царь говорил ему «спасибо».

Победителя охотника повели угощать вином и брагой; его ожидала царская награда: портище хорошего сукна на кафтан ценою в два рубля.

А на дворе и на крыльце царском все опять сидели и стояли неподвижно. Потеха еще не кончилась.

## II

Когда вытащили мертвого зверя и замели следы его крови, смешавшейся со снегом, дверца, на которую нетерпеливо смотрели зрители, снова распахнулась. На арену вышел новый охотник – старик небольшого роста, но плотный и, очевидно, необыкновенно сильный. Он был одет, как и его товарищи, в короткий кафтан; из-под меховой шапки выбивались пряди седых волос, небольшая седая борода торчала клином; но в выражении его благообразного лица сразу замечалось что-то странное.

Выйдя из дверцы, он остановился и потом обошел всю арену, одной рукой опираясь на свою рогатину, а другою ощупывая стену.

– Слепой, Слепой! – пробежало между зрителями.

Действительно, охотник этот был Слепой – таково было его прозвище, а прозвище такое дали ему потому, что он был слеп на оба глаза. И между тем Слепой был одним из лучших царских охотников. Не раз, на удивление всей Москве, он бился с медведем и побеждал его. Его кости, однако, испытали тяжесть лап медвежьих, но все же вот дожил он до старости и невредим остался.

Появление слепого на арене было, конечно, самым интересным зрелищем. На борьбу зрячего охотника с медведем смотрели с любопытством, но не видели в этой борьбе ничего особенного: так к ней привыкли, – да и сами охотники шли на медведя как бы шутя и, побеждая его, не считали это особенным подвигом. А помнет медведь – не беда, мало ли что бывает; совсем убьет, разорвет в клочья – ну что делать, Божья воля, должно, худой охотник, коли не сумел справиться со зверем. Но со слепым выходило совсем другое дело – слепой человек не видит врага своего, ужасного врага, победить которого можно только верно и метко рассчитанным ударом.

Слепой так же, как и его предшественник, обойдя арену, остановился на противоположном конце. Он снял свою шапку – обнаруживая при этом огромный красный рубец на лысом лбу, – подпрятал длинные меховые уши шапки да и опять надел ее на голову. Он не мог закрывать своих ушей – ему нужно было чутко слушать: уши были его глазами.

Слепой стоял и ждал. И все заметили, что он держит рогатину вовсе не так, как держал ее Никифор, а между тем все хорошо знали, каким образом охотник должен встречать медведя.

Что же это такое? Неужели старик так и даст себя на растерзанье зверю? Зверь уж близок, вот у самой дверцы слышен рев его, вот он показался – медведь огромный, больше первого, – вот он увидел противника, по обычаю поднялся на задние лапы и идет на него.

Зрители замерли, даже не слышно женских визгов, даже закутанные фатою боярыни и боярышни не прячутся, а смотрят во все глаза: слишком уж страшно, слишком любопытно.

Медведь подходит к слепому охотнику – и вдруг, в одно мгновение ока, охотник делает прыжок и оказывается совсем в другой стороне арены. Зрители ахнули в один голос, даже медведь остановился в изумлении, неуклюже поворотился и опять пошел на Слепого. Но и тут Слепой готов был его встретить. Он уже держал рогатину по всем правилам, прямо перед собою. Он стоял неподвижно, немного склонив голову на правую сторону, очевидно, всем существом своим прислушиваясь. Вот уже почти над самым ухом его раздается свирепое рычание. Крепкой рукой упирает он перед собой рогатину и попадает ею в медведя. Медведь завопил. Но что это такое? Должно быть, старик все же не рассчитал удара: одной лапой медведь ударил его по плечу и вцепился в него своими крепкими когтями. Старик даже слабо вскрикнул, пошатнулся под натиском медвежьей лапы и присел на землю.

На крыльце царском произошло движение.

Алексей Михайлович вскочил со своего места и закричал громким голосом:

– Эй! Скорее кто-нибудь на помощь к Слепому; ведь зверь разорвет его!

Но Слепой не потерял присутствия духа. Он был уже под медведем; тот, разъяренный страшной болью от рогатины, которую чувствовал в груди, наваливался на него всем своим грузным туловищем. Вдруг Слепой, как-то весь согнувшись кольцом, извернулся и высвободился из-под медведя. Быстрым движением выхватил он нож и по самую рукоятку всунул его в горло зверю. Медведь завопил, кровь так и хлынула у него из раны, он повалился и задергал могучими лапами. Слепой охотник, с разодранным рукавом

кафтана и окровавленной шеей, стоял спокойно, высоко подняв голову; незрячие, но открытые глаза его блестели на солнце.

Неудержимые, безумные крики поднялись со всех сторон и долго не смолкали.

Царь велел подвести к себе Слепого, велел осмотреть его рану и поскорей перевязать; расспрашивал, где помял медведь, очень ли больно.

– Пустое, батюшка государь, пустое, – повторял Слепой. – Уж ты не взыщи на мне, старом, что чуть было перед тобою не осрамился я ныне. Вестимо дело, это мне не впервой – я его, где он, и с какой стороны, и как ко мне подходит, не то что ушами, а даже и носом чую, а все же иной раз промахнешься. Ну да и силы уж не те ноне стали. Прежде, бывало, как сунешь в него, это, рогатину, так сразу и чувствуешь, что она прошла, куда ей следует...

– Да что ты там толкуешь, – перебил его царь, – «силы нет», ныне показал ты нам, какая в тебе сила. Коли бы не видел своими глазами, что ты такое сделал, так и не поверил бы людям. Спасибо, старина, – за такую твою службу мы велим наградить тебя, – а только вот что я скажу тебе: довольно, не выходи ты больше на травлю – неровен час, а я не хочу, чтобы тебя зверь на моих глазах растерзал.

И царь, ласково и печально улыбаясь Слепому, будто тот мог видеть эту улыбку, положил ему на плечо свою женственно нежную и белую, но уже крепкую руку.

Старик почувствовал царское прикосновение и дрогнувшим голосом проговорил:

– Царь-государь, на добром твоём слове тебе великое спасибо, но уж дозвожь ты мне, пока силы хватает, ходить на медведя. Почитай, что издетства охотничал, еще как глаза видели свет Божий, а как наказал меня Господь слепотою, покрыл тьмою крошечную очи мои, и то не оставил я своего дела. И ныне, как ни есть, а привелось мне потешить тебя, царя-батюшку, так уж и до конца живота своего мне ходить надобно на медведя... може, мне так написано и умереть под медведем, а я только одно ведаю, что коли мне запрет будет от тебя, так я с одной тоски помру.

– Ну как знаешь, старик, как знаешь! – проговорил Алексей Михайлович и, махнув рукою, чтоб увели Слепого, сел на свое место,

и окружавшие заметили, как словно туманом каким заволочло светлое и радостное лицо юноши.

Несколько минут просидел он неподвижно. На арену выходили новые охотники, и должны были появиться сразу три медведя. Но эти охотники и эти медведи были уже не чета прежним. Эти медведи были ручные, и выводились они не для травли, не на смерть, а токмо на потеху христианскому люду. Охотники встречали их не рогатиной, а словам смешливым да прибаутками. По приказу этих охотников медведи представляли: и как карлы ходят престарелые, и как хромой ногу таскает, и как жена милого мужа приголубливает, и как малые ребята горох воруют и ползают, где сухо – на брюхе, а где мокро – на коленях, – и много разного другого.

Эти медведи водку пили из стаканчиков и потом лапой утирались и кланялись православному люду, и люд православный заливался неудержимым хохотом.

Царь Алексей Михайлович особенно любил таких ученых медведей, но теперь он на них и не смотрит. Сидит он опустив голову, и с недоумением, отводя глаза от потехи, поглядывают на него окружающие, и пристальнее всех поглядывает боярин Морозов.

«Что такое случилось с государем? Все был весел и радостен и так любопытно глядел на травлю – известно как любит он эти забавы. Что это, Слепой, что ли, так огорчил его? У государя сердце больно мягкое, доброта в нем великая...»

Но хоть и помял медведь Слепого, да немного, и сам Слепой, смыв кровь с плеча да обвязав его мокрой тряпкой, теперь как ни в чем не бывало пирует среди товарищей.

«Что бы такое это быть могло? – думает боярин Морозов. – И уже не впервой я то замечаю: все весел, весел – и вдруг как туча черная найдет на него, глядит совсем иначе. Не дай бог, уж не болесь ли какая с ним, не испортил ли кто государя?»

– Что это ты, государь, золотой мой, – шепчет Морозов своему питомцу, – али, не дай Бог, нездоровится тебе?

– Нет, я здоров, чего это ты, Иваныч?! – отвечает царь и улыбается.

Но не весела и не радостна его улыбка, как-то даже побледнели его румяные щеки.

– Скучно, Иваныч, – прибавляет царь и зевает и потягивается. – Все одно и то же... эти медвежьи штуки! Пусть кто хочет остается, а мы поедем-ка в Москву лучше!

Он встает со своей парчовой скамьи и уходит с крыльца в хоромы.

Морозов, переглянувшись кое с кем из окружающих, следует за государем.



### III

Во всю дорогу, до самой Москвы, не мог развеселиться Алексей Михайлович. На все расспросы Морозова он отвечал, что чувствует себя совершенно здоровым и что просто ему скучно стало.

– Да вот плохо ночью спал, – наконец объяснил он. – Так, может, оттого и скучно: что-то в сон клонит.

Он прислонился к высокой ковровой спинке саней и закрыл глаза.

Морозов решил оставить его в покое, хоть и признавал, что сон – только отговорка, что царю вовсе не спать хочется, а этими словами он желает просто-напросто отвязаться от него, Морозова, расспросов. Так оно и было: не дремал, сидя с закрытыми глазами, царь молодой.

«Что такое со мною? – думал он. – Да ничего, ничего, просто скучно. И откуда скука такая берется? Прежде ее не бывало».

Он совсем переставал думать и только прислушивался к скрипу снега под полозьями саней. Он только вдыхал в себя чистый морозный воздух, открывал глаза, мгновенно взглядывал на озаренную заходящим солнцем снежную поляну и опять закрывал их и следил, как перед закрытыми глазами мелькают отражения солнечного света, как ходят золотые кружки и потом отливают то голубизною, то зеленью, потом темнеют, наконец исчезают.

Что-то тихое, тихое и тоскливое наплывает на сердце, что-то звенит будто в ушах, какие-то слова неясные, не то песня, не то музыка – и опять ничего, и опять все в тумане.

Потом вдруг мелькнут живо и ясно, хоть и на мгновенье, образы покойного отца, покойной матери – и расплывутся. Дрогнет сердце при воспоминании о недавней утрате, но новый неясный образ, новое ощущение – жуткое, непонятное, встрепенется в груди. Мелькнет как будто радость, какой никогда не бывало, ожидание чего-то необычайного и счастливого, что близко, вот-вот будет... Но ничего этого нету... и снова тоска, снова скука.

Что, уж и впрямь не болезнь ли это лихая? Не испортил ли кто? Не вынул ли лиходей какой царского следу? Не подкинул ли какую траву негодную на пути царском? Нет! Здоров, полон силы и свежести семнадцатилетний царь Алексей Михайлович. Никто не испортил его.

Нет у него лютых врагов, нет в нем лихих болестей. То не болести, а юность, и силы, и здоровье сказываются, и просят новой жизни, нового счастья, и поют, и шепчут сердцу, что есть какая-то страна заколдованная и что пришло время заглянуть в страну эту. Вышел из детства царь Алексей Михайлович, жить просится, хоть и сам того не ведает.

Да, прошли детские годы и как прошли-то быстро, и сколько милого, сколько светлого прошло с ними! Какие перемены! Давно ли все это было? Давно ли никакой заботы, никакого горя, никакой темной мысли не знал счастливый мальчик?

Судьба все дала ему для счастливого детства: и отца доброго, и мать нежную, и по сердцу разумного воспитателя, и к ученью большие способности, и к забавам немалую охоту. Не нарадовались, не нагляделись на свое дитячко царь Михаил Федорович с царицею Евдокией Лукьяновной. Глядя на него, разумного, да доброго, да пригожего, – грезили они, что вырастят его, найдут ему невесту по мыслям, будут радоваться на его счастье, нянчить внучат будут, а потом, в тихой старости, отойдут в лучший мир, устроив все житейские дела свои и успокоившись духом.

Но судьба решила иначе. До срока, до времени скончался царь Михаил Федорович, а через несколько месяцев последовала за ним и царица Евдокия Лукьяновна. Государство Русское присягнуло шестнадцатилетнему юноше. Алексей Михайлович, едва справясь со своим горем, едва осушив слезы на гробе добрых родителей, увидел себя главою великого царства.

Долго все было перед ним как бы в тумане, долго ничего сообразить он не мог, но сообразить нужно было, и он очнулся от своего горя, от своего изумления, понял свое новое положение – и все ближние люди увидели в нем необычайную перемену. Вчерашний ребенок явился разумным юношей и сразу выказал свои блестящие способности и доказал всем, что учился он не даром и что разумные были у него наставники. Первый из них, боярин Борис Иванович Морозов, продолжал иметь на него сильное влияние, продолжал быть самым близким к нему человеком. Даже после смерти царя и царицы эта связь еще более окрепла. Борис Иванович управлял теперь всеми делами, был первым лицом в государстве. Перед ним все должны были склоняться, сознавая, что силу его поколебать невозможно. Но сам

Борис Иванович хорошо видел, что не может он назвать себя самовластным господином. Как ни молод, как ни робок еще его воспитанник, а все же не даст себя в обиду, не дозволит вести дела по произволу. В каждом важном деле отчета требует, в каждое важное дело своим юным умом вникает, всем интересуется: «добрый государь будет, добрый и разумный!»

И Борис Иванович держит ухо остро, каждый шаг свой обдумывает, чтоб так или иначе не повредить себе, чтоб поддержать свою связь с государем, чтоб увеличить свое на него влияние.

«Сегодня все в моих руках, – рассуждает про себя хитрый боярин, – но надо подумать и о завтрашнем дне».

И сильно он об этом думает. Думает он и теперь, то и дело посматривая на Алексея Михайловича и раскидывая в уме своем, что бы значило его странное состояние, которое уж не в первый раз он в нем замечает. Сегодня особенно это в глаза бросается. Медлить невозможно, нужно узнать, в чем дело и как помочь этому делу! Нужно переговорить с разумным человеком, ибо ум хорошо, а два – лучше. Разумный человек есть – думный дьяк Назар Чистой, бывший купец ярославский, но теперь видную роль играющий в делах государственных и во дворце царском.

Молодой царь любит Чистого, хоть если бы заглянул он в душу его лукавую, то разлюбил бы. Но душа – невидимка, а на лице думного дьяка такое ясное веселье, такая радушная доброта написаны. Так умеет он разумной и веселой речью развлечь государя, заинтересовать его. Так забавно рассказывает он ему всякие любопытные истории.

Чистой теперь едет с двумя боярами за санями государя. Вот они въехали в Москву, проехали по людным, народом кишачим улицам, в Кремль въехали и остановились перед царскими палатами.

Царь Алексей Михайлович открыл глаза, равнодушно взглянул на свое царское жилище и, поддерживаемый Морозовым, вышел из саней. У крыльца и в сенях его дожидались царедворцы. Ожидали они его милостивого и ласкового слова, его рассказа о медвежьей потехе, которую всегда так любил он.

Но на этот раз царь молчал и только заметил, что проголодался и что не худо было бы поторопить с ужином.

– А пока я пройду к сестрам, – сказал он боярину Морозову.

## IV

В последнее время он довольно редко посещал женские хоромы: слишком много было дела. Он продолжал еще и науками заниматься и интересовался всеми делами государственными, заседал с боярами. К тому же его и не тянуло особенно на женскую половину дворца. Связь с ней рушилась со времени смерти матери, да, может быть, в царь говорил и молодое самолюбие: хотелось показать, что он уже человек взрослый, что ему и не след, и неохота проводить время с бабами.

Но теперь ему захотелось в терем, и шел он по дворцовым коридорчикам и разнообразным палатам, то поднимаясь на несколько ступенек, то спускаясь вниз, шел он, и представлялось ему, как, бывало, спешил он по этой дороге к матери, как она встречала его лаской и поцелуями, как всегда у нее готовы были для него всякие сласти и угощения. Невольные слезинки показались в глазах его.

Вот он и в тереме. В тепло натопленной горнице, с украшенной хитро расписанными изразцами печью и лежанкой, сидят его сестры за работою. Вокруг них больше дюжины молодых девушек, а на лежанке старая сказочница, уже много лет проживающая в царском тереме и забавляющая его обитательниц своими рассказнями. Она сидит, поджав старые ноги, на теплой лежанке и тянет что-то дребезжащим голосом. Царевны и их подружки внимательно слушают.

Алексей Михайлович остановился у порога.

Сотни раз слушал он эту сказку и наизусть ее знает; точно так же знают ее и теперешние слушательницы. Но им интересно следить за рассказом, за мастерскими переменами интонаций старческого голоса.

О, как все это знакомо молодому царю, вся эта горница, каждая в ней вещица!

Вот спокойное, затейливое креслице, которое лет десять назад государь Михаил Федорович подарил своей супруге. Теперь сидит на нем царевна Татьяна.

Она первая увидела брата и встала ему навстречу.

Между молодыми девушками произошло движение; некоторые из них прикрыли свое лицо фатою, а другие так и остались, они еще не

успели примириться с мыслью, что Алеша царь, они все еще называли его промеж себя Алешей и перед ним не чинились.

– Что так рано, братец? – сказала царица Татьяна, здороваясь и целуясь с царем. – Мы думали, ты сегодня и не вернешься из Покровского... Ну что, хороша была потеха?

– Хороша, – ответил царь, – а все-таки скучно – все одно и то же.

– Да оно точно, – заметила другая царица, Ирина, – для тебя, может, и скучно, ты этих потех довольно навидался, а вот мы так в кои-то веки увидим, нам все и внове, все забавно.

– А коли забавно, – сказал Алексей, – так отчего же вы, сестрицы, не поехали, я вам в этом не препятствую и ничего тут не вижу зазорного.

– Нет, государь-батюшка, не говори ты так царицам, – медленно и с достоинством заметила старая боярыня, входя в горницу, – негоже царицам часто показываться перед народом. А вот коли будет твоя милость, так прикажи в Покровском, как затеется опять травля, у крылечка такое место загороженное, укромное сделать, чтоб можно было в нем от всяких взоров людских укрыться, тогда и сестрицы твои посмотрят на забаву. Уж ты не взыщи на моих словах, государь. Великий тебе разум дал Господь, а все же годочков тебе еще мало, многого ты еще не ведаешь, так нечего сестриц смущать. Нам, старухам, про то надлежит ведать, что для них зазорно и что не зазорно.

Боярыня сжала губы, укоризненно покачала головою и плавною походкой опять вышла из горницы.

Алексей усмехнулся ей вслед и махнул рукою. Молодые боярышни лукаво перемигнулись.

– Ну, рассказывай, братец, все по ряду, как и что было? – стали приставать к нему сестры.

Он начал рассказывать, но на этот раз как-то неохотно. Его мысли были далеко, а где – он и сам не ведал.

Начинались сумерки. В теремной горнице водворился тихий полусвет; мешались последние отблески дня, врывавшегося в маленькие слюдяные оконца, да красноватый огонь нескольких лампад в углу у дорогого киота. И вдруг начинало казаться Алексею, что эта знакомая горница стала изменяться. Все принимало новые причудливые очертания – и прежде всего эти знакомые девичьи лица.

Глядит Алексей на одну из боярышень; он давно ее знает, он никогда не обращал на нее особенного внимания, а теперь глядит, не отрывается от нее жадным взглядом, и замирают на устах его слова, и не слышит он, как сестры понуждают его рассказывать.

Боярышня сидит на низкой скамеечке, прислонясь к теплым изразцам печки. На ней сарафан алого цвета, легкая дымка фаты обвивает ее плечи. Склонилась голова ее на руки, тяжелая коса свесилась и лежит на ковре, перевитая лентами. Глаза глядят задумчиво неведомо куда, а на полных губах мелькает неопределенная улыбка.

«Да ведь это Сонюшка! – думает Алексей Михайлович. – Что ж это я так смотрю на нее? что в ней особенного? Толстая Сонюшка, она ведь у меня леденцы воровала!... Бывало, матушка пошлет ее ко мне с леденцами, она принести принесет на блюдце, а у самой губы и все лицо сладкие и карман так и оттопырится. Бывало, матушка опустит руку ей в карман и вытащит оттуда леденцы, потом и журить ее станет... Да, это Сонюшка, но ведь я никогда ее не видал такую, она теперь совсем особенная; какие у нее хорошенькие глазки, какая коса густая да длинная!...»

И глядит Алексей Михайлович на девушку, и жутко и сладко ему становится, и сам он не понимает, что все это такое.

Вот ему хочется поближе подсесть к ней, взять ее за руки полные, поцеловать ее румяные губы.

Он приподнялся тихонько с места, подошел к Сонюшке и опустил на скамью перед нею.

– Что это ты задумалась? али тебе нездоровится? Ты зачем же прислонилась к печке, от жару только голова разболится, – проговорил он обрывающимся голосом и положил руку на плечо девушки.

Рука его вдруг похолодела и дрогнула. Сонюшка взглянула на него, смутилась, яркая краска разлилась по лицу ее. Она быстро встала на ноги и прошептала:

– Я здорова, государь; что это тебе показалось?

Но он уже очнулся. Ему почему-то стало стыдно. Он был недоволен собою.

– Пора ужинать, чай, бояре заждались меня, – сказал он и смущенный, с опущенными глазами, будто провинившийся, вышел из горницы.

Между тем уже давно стемнело. Вокруг дворца было тихо, впрочем, и всегда, за исключением разве каких-нибудь особенных случаев, здесь соблюдалась, по возможности, тишина. Лошади и экипажи не должны были подъезжать к крыльцу, а останавливались на довольно значительном расстоянии, и все люди, имевшие доступ во дворец, приближались к нему пешком и сняв шапки. Бояре, окольниковые, думные и ближние люди имели право входить в «верх», т. е. в жилые хоромы государя. Здесь они обыкновенно дожидались в «передней». Эта «передняя» была заветною мечтою очень многих родовитых и заслуженных людей, которые нередко били челом государю, униженно моля его за их и родительские службишки наградить их – дозволить быть в «передней».

Люди же не столь близкие к особе государя – стольники, стряпчие, дворяне, стрелецкие начальники и дьяки – не смели и помыслить о «верхе» и «передней». Они собирались на «постельном крыльце», где постоянно была изрядная толкотня и редкий день обходился без какой-нибудь крупной ссоры, разбирать которую приходилось часто самому государю.

Теперь, однако, благодаря вечернему часу «постельное крыльцо» было почти пусто; на нем виднелись только три-четыре фигуры, мерно расхаживающие в полумраке. Это были старые дворяне, имевшие обычай толкаться у дворца до тех пор, пока их не попросят удалиться. Они хорошо знали, что никакой выгоды не получают от этого снования взад и вперед по крыльцу «постельному», но каждый все же держал в мыслях: а вдруг, не ровен час, его заметят да и пожалуют, а не то, все же придется новость какую-нибудь интересную услышать, которую можно будет потом разнести по городу со всевозможными прикрасами. И они ждут час за часом, почтительно пропуская мимо себя счастливых, отправляющихся в «верх», переговариваются с дворцового прислугою, следят за сменяющимся караулом, всюду во дворце расставленным, голодают и дрожат от холода...

Зимняя ночь уже совсем наступила. Мраком окуталось причудливое дворцовое здание со своими роскошными парадными

палатами. Полоса яркого света блеснула с лестницы, ведущей в государевы покои. Туда, туда бы пробраться, хоть глазком одним взглянуть, что там творится! Но лестница заперта медною золоченою решеткой.

Небольшие, уютные хоромы царя освещены восковыми свечами, вставленными в стенные подсвечники. Хоромы эти блестят новизною – они наряжены недавно покойным царем Михаилом Федоровичем, которому так и не привелось пожить в них. Стены и потолки обшиты красным тесом и изукрашены тонкой столярной резьбой, а некоторые обвешаны яркими сукнами, атласами и парчюю. Пол устлан мягкими восточными коврами, а в сенях и коридорчиках расписан красками в шахматах и под мрамор. Маленькие, по большей еще части слюдяные, окошки красиво расписаны, но теперь их не видно, так как время зимнее, морозное, и с наступлением вечера закрыты они изнутри втулками теплыми, стегаными. По углам хором жарко натопленные печи изразцовые: синие и зеленые, некоторые из них четырехугольные, другие круглые. Все они снизу доверху по изразцам расписаны травами, цветами, людьми, животными и разным узорочьем. На стенах развешаны листы фряжские (гравюры) и парсуны (портреты царские). У стен расставлены, одна возле другой, лавки, покрытые шелковыми стегаными матрасиками. Кое-где видны между лавок немецкие и польские столы с кривыми резными ножками на львиных лапах: все они хитро разрисованы по золоту и серебру.

Обширнее всех покоев Передняя да находящаяся рядом с нею Комната, то есть по-нынешнему кабинет царя. В Передней, в углу, большое, обтянутое парчюю кресло на возвышении – это царское место. В Комнате, в переднем углу под образами, тоже большое кресло, но не на возвышении; перед креслом стол письменный большого размера, покрытый тонким алым сукном с золотою бахромою. На столе часы заморской работы, изображающие рыцаря в полном вооружении, серебряная чернильница с песочницею и трубкою, где перья мочить. Вокруг чернильницы разложены перья лебязьи, серебряный свисток с финифтью, заменяющий колокольчик, перочинный ножик, карандаши в серебряной оправе, зубочистка и ухвертка. Далее – клеельница с клеем: это вещь очень необходимая, так как бумага в то время резалась на столбцы, которые по написании подклеивались один под другой. Потом, тут же на столе, «книга



уложенная», то есть «Уложение». Книга эта довольно истрепана от частого употребления покойным государем и уже хорошо знакома молодому царю Алексею Михайловичу. Возле письменного стола другой маленький стол с шахматной доской и костяным шахматным ящиком. По стенам Комнаты, где нет лавок, поставцы с полками и выдвигаемыми ящиками; тут хранятся бумаги, письма и любимые вещи царя, его нарядные платья, драгоценные изделия золотые, иноземная монета. Кроме того, в Комнате большая книгохранильница со многими книгами, главным образом духовного содержания, да несколько длинных висячих полок с золотой и серебряною посудой иноземной работы. Посуда эта – по большей части дары иностранных государей и послов. И каких, каких фигур тут нету! Вот немка золоченая серебряная: держит она в руках сосудец с крышкою; другая немка с лоханкою в руках; третья с ведром; кубок золотой, в виде крылатого змея, расписан весь финифтью, а глава змеиная – изумруд большой, в глазах яхонт, а во рту держит змей голову человеческую. Вот медведь, вот слон, кораблик на колесах; и не перечесть всех фигур затейливых. Любит Алексей Михайлович, оставшись один в Комнате и утомившись от занятий, разглядывать эти фигуры. Снимает он их осторожно с полок, вертит во все стороны, любит хитрою работой, а заслышит шаги чьи, тотчас же поставит фигуры на полку и зардеется румянцем – боится, скажут: «Царь еще малолеток, игрушками, гляди, занимается!» Да уж хитры больно и заняты игрушки-то эти!

В этой же царской Комнате накрыт теперь небольшой стол для ужина. Царь очень часто даже и обедает здесь с двумя-тремя из людей самых близких. В Передней давно его дожидаются Борис Иванович Морозов, Назар Чистой да князь Прозоровский.

Показался наконец Алексей Михайлович, все в том же смущенном и возбужденном состоянии духа, в каком вышел из сестриных хором.

– Не взыщите, задержал вас, – сказал он, обращаясь к присутствующим, – чай, проголодались, да и самому есть хочется; пойдемте!

Морозов подал знак дежурному стольнику, чтобы подавали ужин, и все вошли в Комнату. Алексей Михайлович, еще не подходя к столу, приблизился к иконам и, опустившись на колени, набожно крестясь и кладя земные поклоны, громко произнес молитву, слова которой за

ним повторили и Морозов с товарищами. Потом чинно приблизился к столу, перекрестил свой прибор и сел на лавку.

Несмотря на почти еще детские годы, Алексей Михайлович уже выказывал многие черты характера и привычки, которые впоследствии развились в нем и всегда его отличали. Так, он уже и теперь удивлял приближенных необыкновенным своим благочестием и неизменной аккуратностью. Никакие забавы, никакое утомление не могли отвлечь его от молитвы, и только в самых крайних случаях отступал он от раз заведенного и утвержденного покойными родителями порядка своей повседневной жизни. Никогда не позволял он себе излишества в пище и питье, строго соблюдал все посты, да и во дни скоромные кушал очень умеренно и самые простые яства. И теперь столыжник поставил перед ним кусок ржаного хлеба с солью, тарелку с солеными грибами и огурцом и маленькую жареную рыбу. Но прежде чем царь прикоснулся ко всему этому, подошел кравчий и отведал всего по кусочку. Без этой церемонии, по издавна заведенному обычаю, царь не мог приступить к еде. Необходимо было очевидное доказательство, что в кушанье не подмешано никакой отравы или зелья.

Вслед за кушаньями государя стали вносить множество блюд. Тут были всевозможные пироги, заливные, разные тельные, а потом и похлебки. Государь равнодушно взглядывал на каждое из этих кушаний и приказывал ставить их то перед боярином Морозовым, то перед Назаром Чистым, то перед князем Прозоровским. Большинство же блюд уносилось нетронутыми и поступало в распоряжение дворцовой челяди. Ужин продолжался в глубочайшем молчании; но вот государь насытился и подал знак стоявшему за ним чашнику.

– Государь великий, чего твоей милости угодно? – проговорил чашник.

– А дай-ка мне кваску да меду сладкого, – сказал Алексей Михайлович.

Чашник засуетился, налил из двух кубков, с квасом и медом, немного в ковш, сам попробовал, а кубки поставил перед государем. Собеседники же царские прихлебывали в это время старое заморское вино и то и дело повторяли: «За здравие твое, государь!»

Мало– помалу Алексей Михайлович разговорился.

– Что это, никак, у нас нынче тихо на крыльце постельном? – с улыбкой заметил он. – Видно, никого нету, а то уж наверно ссору бы

затеяли.

– Да некому нынче и быть, – ответил Морозов. – День не такой да и поздно.

– А что же вчерашний-то шум? – перебил его Алексей Михайлович, обращаясь к Прозоровскому. – Что такое вышло? Расскажи на милость. Я еще утром хотел спросить тебя, да за сборами в Покровское запамятовал.

Прозоровский поставил на стол свой кубок, вытер усы и бороду и заговорил:

– А дело все то же, что и всегда: схватился князь Евфим Мышецкий с Федором Нащокиным и Иваном Бужениновым... и бьет он теперь челом тебе, государь, и самое-то его челобитье со мною.

– Ну покажи, прочитай зараз уж, а мы послушаем, – сказал Алексей Михайлович и слегка зевнул, закрывая рот своею белой рукою.

Князь Прозоровский вынул из кармана сверток бумаги и начал читать:

– «Бьет челом холоп твой Еуфимка Мышецкий на Федора Васильева сына Нащокина и на Ивана Иванова сына Буженинова, что они нас, холопей твоих, и родителей наших бесчестили; Федор Нащокин называл нас, холопей твоих, всех боярскими и конюховыми детьми на Постельном Крыльце, передо всеми, а Иван Буженинов на Постельном же Крыльце называл меня, холопа твоего, дьяком, а детишек моих подьячими и ворами и подписчиками, будто мы подписывали воровские грамоты»...

– Довольно! – перебил государь. – Известное дело, дальше то же самое, только на лады разные. Уж и как мне все эти ссоры да челобитные надоели! Грызутся люди...

– А вот что, государь, – заметил Морозов, – раз навсегда всех этих молодцов, и старых, и малых, проучить нужно. Привычны они, что как подерутся или погрызутся, так сейчас и к государю, а царь их слова дерзкие и срамные слушай да мири их. Приказать бы, государь, князю Семену Васильевичу (он указал на Прозоровского) да еще кому ведаешь сделать обыск по этому самому делу, а потом повести его по суду: пускай князь Мышецкий ищет судом свое бесчестие.

Царь задумался.

– Ладно ли так? – нерешительно сказал он. – Больно обидится; ведь тут он что пишет? «Родительское бесчестие», говорит, так в делах таких, сам ты, Иваныч, не раз мне сказывал, суда не бывало.

– Точно, обидится, – сказал Назар Чистой, – только на это что же смотреть. Это боярин Борис Иваныч верно молвил, надо бы отучить идти к государю со всякой дрянью... пусть себе обидится князь Мышецкий, невелика важность, зато другой вперед будет обдумчивее.

– Быть по-вашему! – решил Алексей Михайлович и начал вставать из-за стола.

## VI

Простясь с Прозоровским, Алексей Михайлович прошел в Крестовую, или моленную, сопровождаемый своими неизменными спутниками Морозовым и Чистым. Очередной священник давно уж поджидал государя в Крестовой и, только что взошел он, начал привычным, монотонным голосом читать вечерние молитвы.

Алексей Михайлович, пройдя на свое постоянное место, сейчас же стал класть земные поклоны и долго потом стоял на коленях на небольшой поклонной колодочке, то есть низенькой скамейке, обитой узорчатым восточным бархатом и обшитой позументом. Никогда никакое утомление или разнообразие дневных впечатлений не мешали ему проводить, перед отходом ко сну, около часу в Крестовой. Он неустанно и благоговейно слушал молитвы и чтение Златоуста – сборника учительных слов, расположенных по дням года.

Он почти всегда умел в этот тихий вечерний час отдаляться от всех земных помыслов и находить неизъяснимое блаженство в горячей молитве. Но теперь что-то мешало ему молиться, как мешало и весь день заниматься обычным делом. Как утром любимая забава вдруг показалась ему скучною, так и теперь он не мог вникнуть в смысл слов, произносимых священником. Он слышал только его однообразный, несколько гнусливый голос, и этот голос как будто начинал даже раздражать его. Его взоры рассеянно бродили по сторонам, и вместо общего впечатления тихой, благотворно действующей на сердце красоты моленной, слабо освещаемой лампадами, он замечал каждый отдельный предмет, и в то же время все эти священные предметы казались теперь ему чем-то чужим, незнакомым и не имеющим никакого значения.

Вот прямо перед ним богатый иконостас в несколько ярусов, занимающий всю стену. Из-за золота и тонкой резьбы в полусвете выделяются лики Спасителя, Богородицы, Крестителя и Угодников. Но они уже не глядят на него как прежде, не глядят прямо в глаза ему с кроткой и благословляющей улыбкой. Они бледны и туманны. Тусклы и бесцветны драгоценные камни, их украшающие; странно и некрасиво как-то висят на них длинные, широкие ленты и пелены,

шитые золотом, низанные жемчугом, убранные дробницами – мелкими серебряными и золотыми иконами. Причудливые, дикие формы принимают привесы, то есть крестики, серьги, перстни и золотые монеты, украшающие киоты на боковых стенах.

Устали и дрожат колени молодого царя, и поднимается он с бархатной скамейки, и переминается с ноги на ногу – и все силы напрягает, чтобы вслушаться в слова молитвы. Но слова эти по-прежнему, одно за другим, мерно звучат и исчезают. Царь на лету ловит некоторые из них, машинально повторяет – и забывает тотчас же. Его рука привычным движением творит крестное знамение, а взоры опять бродят и останавливаются на богатых золотых ковчежцах, расставленных в углах у самого иконостаса и по всем стенам Крестовой. В этих ковчежцах хранятся смирна, ливан, меры Гроба Господня, свечи воску ярого, выкрашенные зеленою краскою и перевитые сусальным золотом. Свечи эти были зажжены от огня небесного в Иерусалиме, в день Пасхи и погашены вскоре, чтобы хранить их как святыню. Тут же части мощей, зуб святого Антипия, часть камня, павшего с неба, камень от Голгофы, от столпа, у коего Христос мучим был, от того места, где Он молился и говорил: «Отче наш!» – от Гроба Господня, песок реки Иорданской, часть от дуба Мамврийского, финики с того места, где был Моисеев жезл, – и многое множество святынь, присланных в разные времена патриархами или поднесенных царю русскими богомольцами. Рядом с ковчежцами поставлены пузырьки со святою водою и чудотворными монастырскими медами, восковые сосудцы с водою реки Иордана.

Бывало, Алексей Михайлович и в неурочные часы дня пробирается тихо в Крестовую и с великим благоговением оглядывает все эти святыни, жарко молится и прикладывается к ним устами, а в мыслях один за другим проходят святы образы, сказания Ветхого и Нового Завета. Вспоминаются ему чудные рассказы богомольцев, мечтает он, как поедет ко Святым местам, как сам зажжет свечу от огня небесного. Но теперь все эти ковчежцы ничего не говорят его сердцу, а между тем бьется и трепещет сердце. И опять то смутное и неведомое чувство, которое весь день его преследует, опять растет оно в нем.

– Помилуй мя Господи, Господи помилуй! – шепчет Алексей Михайлович, содрогаясь. – Что это со мною, бес меня искушает... и

где же, когда, в каком месте!...

Дрожь пробегает по телу государя; со страхом оглядывается он, словно думает увидеть за собою беса-искусителя. Но все тихо и мирно в Крестовой. По-прежнему льют свой теплый, неугасимый свет лампы. Набожно кладут земные поклоны Морозов и Чистой в уголку, у входной двери. И так же мерно звучат непонятные ему теперь слова священника. Легкий дымок душистого ладана ходит по Крестовой и пробирается сероватыми струйками по верхам лампадок, к самому иконостасу, и еще больше туманит святые лики.

Вот опять нет ничего – исчезают все предметы, откуда-то издали словно звон доносится. Что-то белое встает из тумана, какой-то образ... И он яснее, и перед юношей нежный, розовый облик: длинные ресницы глаз опущенных, толстая коса девичья, соскользнувшая с плеч и упавшая на пол... Полные, круглые плечи в дымчатых складках фаты прозрачной – это... Сонюшка?... Нет, не она, что-то далекое, незнакомое и в то же время близкое, дорогое в этом образе – и трепещет сердце, и по жилам пробегает то жар, то холод...

«Государь!» – раздаётся над самым ухом Алексея Михайловича.

Он очнулся: пред ним Морозов зорко и пытливо глядит на него.

Вечерние молитвы кончены, Слово Златоуста прочитано. Священник закрывает книгу – тихо щелкают серебряные застёжки.

Алексей Михайлович, с пылающей головой, с холодными, дрожащими руками, идет приложиться к иконам и не смеет поднять очей на святые лики. Боится он прочесть в них гнев и укоризну.

## VII

По выходе царя из Крестовой Назар Чистой дернул Морозова за рукав и шепнул ему:

– Совсем ныне не в себе, и причина тому мне, думаю, ведома. Попомни, боярин, что я говорил тебе наперед. Пора ему невесту – отрок пришел в возраст; не худое это дело. Заведи-ка с ним речь, боярин, и голову руби мне, если сам он тебе не то же скажет. Ну а мне и ко дворишку пора, дел много накопилось и час поздний... Прости, государь, – обратился он к Алексею Михайловичу, медленно и задумчиво шедшему перед ними по коридорчикам и переходам дворцовым, слабо освещенным восковыми свечами, усыпанным по полу мелким, просеянным красным песком.

Коридорчики и переходы эти были почти пустынные, только то там, то здесь в уголках виднелись неподвижные фигуры стражников с тускло блестящим при огне оружием.

Алексей Михайлович на мгновение остановился, отдал рассеянный поклон Чистому и взглянул на Морозова.

– А ты не уходи, Борис Иванович, – сказал он ему.

– Зачем уходить, – ответил Морозов с улыбкою, – я тебя, батюшка, коли хочешь, раздену сам, как прежде.

Морозов уже не был дядькой Алексея Михайловича; но молодой царь по привычке часто заставлял его присутствовать при своем отходе ко сну, сажал его у кровати и беседовал с ним, пока не засыпал.

Войдя в опочивальню и заметив дожидавшегося там спальника, царь сказал ему, что он может удалиться, что нынче никого не нужно, кроме Бориса Ивановича.

Спальник низко и молча поклонился государю, с невольною завистью взглянул на Морозова и тихо вышел из опочивальни.

Борис Иванович, привычным взглядом окинув знакомую комнату и убедясь, что все в порядке, подошел к огромной царской кровати, бросившейся в глаза яркой позолотой точеных столбов своих. Он отдернул тяжелые, затканые золотом шелковые занавеси балдахина и высоко взбил подушки.



Алексей Михайлович в это время с усталым и рассеянным видом сидел на низеньком мягком табурете и машинально расстегивал одну за другою пуговицы кафтана. Он поднял глаза на Морозова, замешкавшегося у кровати, и увидел, что тот стоит и качает головою.

– Что ты, Борис Иваныч, али неладное нашел?

– Да так оно и есть, что неладное, – ответил Морозов, разглядывая шитый шелком ворот царской ночной сорочки. – Видно, опять тебе придется меня взять в дядьки. Что за люди! словно глаз нету, ворот-то вон разорвался.

Алексей Михайлович невольно улыбнулся. Ему вспомнилось многое, вспомнились детские годы, и показалось ему, что он и теперь совсем маленький ребенок. Вот добрый дядька его Борис Иванович ворчит, как это всегда с ним бывало...

– Ну полно, боярин, невелика беда, дай другую. Да, ключи-то у Князя Никиты, а его теперь не догонишь...

– Зачем мне князя Никиту, ключи со мною! – проговорил Морозов и пошел к большому кипарисовому сундуку, стоявшему в углу опочивальни.

В этом сундуке хранилось белье царское, и он составлял вещь неприкосновенную, ключи от него должны были храниться у самого доверенного лица, которое, в случае чего, и было в ответе. А ответ не раз случался немалый. Царское белье! – это то же, что еда и питье: мало ли каким способом посредством белья можно нагнать лихо на человека! Сорочку заговорить можно, зельем осыпать, через нее всякую болезнь, всякую беду пустить на государя.

Морозов до сих пор не отдавал никому ключей от белья царского и сам выдавал спальникам все, что нужно.

Сорочка вынута. Царь перекрестился, приложился к образу у кровати и начал раздеваться с помощью Морозова. Он с видимым удовольствием погрузился в мягкую перину, вытянулся во всю длину ее, до самого подбородка укрылся стеганым шелковым одеялом и несколько минут лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Мечтательная полуулыбка замерла на розовом красивом лице его. Морозов сложил бережно и аккуратно царское платье.

– Что же, государь, – сказал он, – али уж и заснул?

Алексей Михайлович открыл глаза. Вдруг быстрым движением сбросил с себя одеяло и сел на кровати.

– Нет, я не сплю, Иваныч, и спать не хочу. Все какие-то думы непонятные в голове... Иной раз наяву словно сны снятся. Знаешь, мне сейчас на ум взбрело, хоть глупое оно, а все же на правду похоже. Глянь-ка ты на стол у кровати, что там такое на крышке?

Морозов с недоумением взглянул на стол, хорошо ему знакомый, и ничего на нем не увидел. Это был стол большой и роскошный, весь расписанный по темному дереву травами, с медным, серебряным и перламутровым вставным узором. На середине крышки был круг с орлом двуглавым, а по сторонам две фигуры.

– Ничего на столе нету, что это ты, государь?

– Знамо, на столе ничего нету, – улыбаясь ответил Алексей Михайлович, – да какие такие две фигуры возле орла написаны?

– А это птицы сирины, – сказал Морозов.

– Ну вот об этом-то я тебя и спрашиваю. Намедни Пафнутьич-странник был у меня тут в опочивальне, увидел стол этот и рассказал мне о птицах сиринах. Говорит он, было то в царствие Маврикиево, весь народ вдруг увидел, как в реке Ниле явились два животные человекообразные: до полтела муж и жена, а от полтела птицы – то и были сладкопеснивые сирины. И воспели они сладко, и кто слышал их, тот пленялся мыслию и, забыв все, шел за ними и умирал. Вот что рассказал мне Пафнутьич. Правда то, нет ли – сдается вот мне, что иной раз и я сам будто слышу такой глас сирина.

Алексей Михайлович оживлялся все больше, а Морозов его внимательно слушал.

– Нынче ехали мы из Покровского, спрашивал ты меня, Иваныч, что со мною? не болезнь ли какая во мне?... Здоров я, а пожалуй, есть и болезнь во мне. Иной раз дивное со мной деется; говорю – сирина слышу! Вот и теперь, сейчас будто пение такое сладкое, а где оно – не ведаю... Что это, Иваныч? не опоили ли чем уж?

Морозов покачал головою.

– Ничем тебя не опоили, государь, – сказал он, – мы всегда с тобою, при тебе верные люди, чтобы блюсти твое здоровье. Успокойся, все это пройдет, мало ли что бывает с человеком, а не спится тебе, потолкуем, благо у меня есть о чем и речь держать.

Легкая, лукавая улыбка скользнула по лицу Морозова.

– Ну что? Говори, я слушаю, – медленно произнес Алексей Михайлович, снова опускаясь на подушки. Его оживление пропало.

Морозов придвинул тяжелое кресло к самой кровати, покойно уселся в него, погладил себе бороду и начал:

– Царь-государь Алексей Михайлович, питомец ты мой дорогой! Скоро время идет, и не видишь, не чуешь, как оно проходит; только иной раз, как очнешься да вспомнешь старое – и сколько, сколько прошло его! Давно ли был ты дитя малое, давно ли у меня на коленях еще сиживал, и я тебя величал не государем батюшкой, а Алешей, царевичем своим. Прошло то время – словно в сказке какой; не по дням, а по часам возрос ты, возмужал – и волею Господнею ныне ты царь великой земли русской. И по милости Господа и по нашим грешным молитвам долгие, долгие годы будешь ты царить и править землей Русской. А и к тебе придет старость, и придет час смертный. И каждый-то из нас – и старец, и юноша – должен помышлять об этом, а ты сугубо помышлять должен, ибо смерть государей может великим быть бедствием для целого народа. Покойный родитель твой, – Морозов перекрестился, – отходя ко Господу, немало печаловался, что оставляет тебя в столь юном возрасте. Разумеешь ли, к чему я речь клоню?

Но Алексей Михайлович еще не разумел. Он только начинал все внимательнее и внимательнее слушать.

– А речь, – продолжал Морозов, – я клоню к тому, что пора тебе, государь, жениться. Раньше женишься, раньше сынок у тебя будет, наследник желанный. Успеешь сам ты его вырастить да внучат дождешься. Так ли говорю? По нраву ли речь моя?

Морозов совсем уже теперь улыбался и зорко глядел на юношу. Густая краска залила щеки Алексея Михайловича, он опять сбросил с себя одеяло и приподнялся.

Жениться! До сих пор он и не думал об этом, но теперь это слово показалось ему вдруг таким странным, таким волшебным. Он почувствовал необыкновенное смущение и в то же время радость.

– Жениться! – прошептал он. – Да на ком же, Иваныч?

– На ком? – повторил Морозов. – Я невесту еще не припас тебе, государь. Да за невестой дело не стало: вся земля русская тебе поклонится. По исконному обычаю повели собрать красных девиц со всех мест Русской земли да и выбирай себе любую.

– Да ведь я... я... ведь, пожалуй, бояре смеяться будут, скажут, что я еще не вырос! – робко и смущенно прошептал царь.

– Бояре уже давно толкуют, что тебе пора жениться.

– Ты это правду молвишь? – оживленно спросил Алексей Михайлович и, не дождавшись его ответа, прибавил – Так как же им скажу? Мне как-то неладно да и стыдно сказать, что хочу жениться.

– Чего стыдиться! Святое дело, Божье дело, и не твоя это забота. Коли есть на то твой приказ, государь, так все и будет как следует. Завтра же оповещу бояр о твоём изволении, и отправим мы людей надежных по всем городам земли русской – звать на Москву лучших девиц честных родом, для твоего, для царского выбора. Изволишь ли, государь?

– Да! – прошептал Алексей Михайлович, еще больше краснея и не глядя на Морозова.

Долго не мог заснуть в эту ночь молодой царь под наплывом неясных и сладких грез. Заснул, и во сне ему привиделась чудная птица сирий, и пела та птица сладкогласные песни, и звала его, и манила...

## VIII

Недалеко от города Касимова, в большом селе Сытове, на третий день Рождества был торг.

С самого утра широкая улица, еще накануне вся занесенная снегом, но теперь почерневшая, представляла непривычное в селе движение. По обеим сторонам ее были настроены шалаши, где продавались всякие товары, главное: калачи, мясо и пироги, а также холсты, полотна, сукна, зимние полушубки и обувь.

Вокруг этих шалашей толпился люд всякий – крестьяне и крестьянки в праздничных нарядах. На особо устроенном месте были выведены десятка с три лошадей, коров и другой домашней скотины. Здесь женщин уже не было видно: толкались и торговались одни мужчины. Торг часто заканчивался не только крупной бранью, но и сильнейшей потасовкой. В течение одного утра более десятка мужиков были выволочены отсюда по домам все в крови, с вырванными клочьями бород; двое из них уже и померли. Если сделка кончалась мирно, то продавец и покупатель направлялись к стоящему тут же кружечному двору и принимались за хмельное.

Но не одни местные обыватели и соседние крестьяне толкались на торгу в селе Сытове. Среди толпы можно было заметить и стрельцов, и подьячих касимовских, и приказчиков некоторых соседних вотчин. Эти приказчики были на торгу почетными гостями. Встречные им низко кланялись; за ними всегда были целые толпы народа, всячески выражавшего свое почтение.

Торг шел удачно на этот раз: много всякого товара, худого и хорошего, с обманом и без обмана перешло в руки крестьянские. По закоулкам и задворкам, с большой улицы, то и дело направлялись то мужик, то баба с довольными лицами и с покупками в руках.

Зимний морозный денек начинал потухать. На деревенской почерневшей колокольне сытовской церкви ударили к вечерне. Улица опустела и затихла. Даже на конном базаре вели себя сдержаннее; целые толпы направлялись к церкви. Только на дворе кружечном по-прежнему гул стоял. И никакие окрики и затрешины, направо и налево

щедро расточаемые руками местной власти, не могли остепенить расходившихся бражников.

Кружечный двор села Сытова с виду ничем не отличался от других изб, только был просторнее, да вокруг него со всех сторон возвышался старый, местами сильно покосившийся и расшатанный забор.

Из длинных закопченных и затоптанных сеней дверь вела в довольно большое помещение с широкой, жарко натопленной теперь печкой и маленьким слюдяным оконцем.

Вокруг всего покоя были расставлены столы и лавки, и здесь-то происходило главное пируваньё. Духота и грязь были невыносимые, но веселый люд не замечал, по-видимому, этого, и никому в голову не приходило, что обстановка эта безобразна. Все пили, кричали, хохотали, обнимались и ругались: все блаженствовали.

За маленькой дверцей, выглядывавшей в темном углу, из-за печки, был другой покойчик, поменьше первого и несколько чище. Это было помещение для гостей почетных, и в настоящее время тут находился Яков Осина – приказчик большой соседней вотчины, принадлежавшей князю Сонцеву. С ним пирувало несколько стрельцов и людей неведомого звания. На широком белом столе был выставлен целый жбан браги. Объемистые кружки быстро наполнялись, почти все пирующие были давно уже навеселе.

Сам Яков Осина, человек средних лет и крепкого сложения, был трезвее других. Он оживленно говорил, и присутствовавшие его внимательно слушали.

– Ну что он мне может сделать? – говорил Осина. – Если бы он был в силе у воеводы, ну тогда, вестимо, опаска нужна, с воеводой нашим шутить не приходится! А то ведь этот самый Раф Всеволодский давно уж хуже горькой редьки надоел воеводе: с поклонами не ездит, никаких даров пристойных не возит, воевода за него не заступится, это уж верно говорю вам. Ровно и невесть что задумали, не впервой ведь, сколько раз с рук сходило!

– Да что ж, мы ведь ничего! Оно точно, дело не трудное, – разом заметило несколько голосов.

– Так чего ж вы мнетесь? – крикнул Осина.

– А то, что было бы зачем затевать дело, – проговорил высокий стрелецкий пятидесятник. – Зря тоже собираться нечего. Знаем мы

Рафа-то, какие у него достатки, усадьбишка плохонькая, да и все именишко выеденного яйца не стоит.

– Ну нет, этого ты не говори! – перебил его Осина. – Раф старик хитрый, он это только так сиротой прикидывается перед воеводой, а сам тоже немало всякого добра накопил, я это доподлинно знаю. Порыться у него в сундучишках, так и то, и другое найдется: на всех хватит.

– Коли делить как следует, оно, пожалуй, и хватит, – сказал юркий безобразный маленький старик, отставной подьячий Прохор Бесчастный, единственное занятие которого теперь состояло в том, что он переезжал с торгов на торги, из города в город и высматривал себе какую ни на есть наживу. – Оно, пожалуй, и хватит, коли делить как следует, – повторил он. – Да знаем мы тебя, Яков Иваныч, ты вот нас задабриваешь всякими посулами, дело-то мы сделаем, а потом и потянешь себе, так много ли на нас-то всех останется?

Осина из-под насупленных бровей кинул на него злобный взгляд.

– Ты бы уж молчал, старая ворона, – проговорил он. – Кабы не язык твой аршинный да кляузный, так тебе бы совсем и не место с нами, ну что ты за помощник? Какая в тебе сила? что ты можешь сделать? А вот что я вам скажу, братцы, – обратился он к собранию, – наперед говорю вам, и мое слово верно: что бы там у Рафа или у крестьян его вы нынче ни нашли, все ваше, себе не возьму ни полушки! Я не из-за корысти, я дело начистоту веду, мне не добро его нужно!

– А чего тебе нужно? – прошамкал отставной подьячий. – Али девка какая у Рафа приглянулась?

– Ну да уж это мое дело! – сказал Осина.

Несколько мгновений продолжалось молчание, только кружки наполнялись и осушались. Очевидно, хоть и значительно охмелевшие, но все же еще не потерявшие сознания собеседники обдумывали предложение Осины.

В этом предложении не было ровно ничего необыкновенного и неожиданного: он подбивал стрельцов и всякий сброд, целый день толпившийся за ним на торгу, довершить нынешний день нападением на усадьбу и поместье соседнего дворянина Рафа Всеволодского. Такие набеги в то время случались часто; по всем городам воеводы были завалены жалобами и челобитными; на всем пространстве

русского государства производился разбой в самых ужасающих размерах. Все разбойничали – и помещики со своей челядью, и приказчики боярских, княжеских имений с крестьянами, и ратные люди – стрельцы.

Наедет какой-нибудь приказчик, вроде Осины, на торг, да и не то что в селе, а даже и в городе, за ним крестьяне и всякие люди вооруженные, и начнут они колотить до полусмерти, а то и до смерти посадских людишек; шалаши поломают, товар в грязь втопчут; ограбят дочиста; людей перебьют и разгонят; жен и дочерей их опозорят; всякие животы убьют или возьмут с собою и уедут. Пойдет жалоба воеводе, дело ясное, доказанное, свидетелей сколько угодно; но в большинстве случаев ни к чему не приводит жалоба. Зачастую воевода и сам погрееет руки на этом деле, получит из него свою долю немалую и не выдаст разбойников. А уж на воеводу кому пойдет жаловаться бедный захудалый мирской человек? Так и терпят русские города, посады и селения, терпят разор конечный, всякую обиду; дрожит русский люд за добро свое, годами, трудом и потом накопленное, дрожит за честь свою семейную, за жен и дочерей своих, дрожит за жизнь свою... Далеко ушли времена татарского ига, неожиданных и беспощадных набегов степных хищников. Прошли и другие недавние времена, времена смуты и самозванщины; тишина видимая водворилась в государстве, но ненамного лучше стало русскому люду. Терпит он беды несносные, нестерпимые; но велико его терпенье – и, все терпя, все вынося, обливаясь потом и кровью, ждет он своего избавителя...

Набег на усадьбу небогатого касимовского дворянина не страшен сотрапезникам Якова Осины, все дело для них в том, стоит ли тревожиться. Но Осина говорит, что у Рафа Всеволодского есть и добро припрятанное, а Осина хитер, он все знает, все сумеет пронюхать, где что творится по соседству.

– Да что ж, отчего не идти? Пойдем! – сказал, наконец, один из стрельцов, почесывая себе голову.

– Да уж ладно, ладно! – подхватил другой.

Яркая краска залила лицо Осины, глаза его сверкнули. Он глубоко вздохнул всею грудью.

– Ну вот, давно бы так-то! – веселым голосом крикнул он. – А я опять-таки свое слово повторяю: ничего не трону из добычи. И потом



все ко мне на двор, угощу на славу.

– Смотри, помни! – погрозил ему пальцем Бесчастный.

Осина внимательно оглядел товарищей. Двое-трое из них были уже совсем пьяны, других тоже, очевидно, хмель разбирал.

«Упьются, ничего не выйдет! – подумал он и решил больше не давать им вина. – Да ничего, еще будет время, поднять их нужно, на морозе вырезвятся».

И он заговорил, что нужно сейчас, не мешкая, все решить, подготовиться, чтобы не упустить времени. А бражничать пока надо оставить – как в карманах добро будет, так и хмель выйдет веселее.

С его мнением согласились и тут же порешили собраться в конце села и там уж дожидаться его, Осины, который и поведет их.

– Сколько же вас всех будет? – спросил приказчик.

– Да человек с тридцать наберется.

– Ладно, с таким войском не токмо к Рафу, а и к касимовскому воеводе идти! – потирая себе руки и даже облизываясь от предвкушения добычи, шамкал беззубым ртом отставной подьячий.

– Ах ты атаман, атаман! – презрительно покачал на него головою Осина и стал до ночи прощаться с товарищами.

Скоро все они, покачиваясь и переругиваясь между собою, выбрались в сени, а оттуда через двор и на широкую сельскую улицу.

Совсем уже стемнело; на небе высыпали звезды и загорелись и заискрились в морозном воздухе. На краю горизонта, за бесконечными снежными полями, готов был показаться месяц.

«Ночь будет светлая, мигом доберемся до Рафа, – подумал Осина, проводив товарищей и остановившись среди улицы. – Ну, Рафушка, друг старый, пришел, видно, и мой день, все тебе нынче вспомнится, вспомнится и твоя оплеуха, что до сих пор словно еще горит на лице. А!... я холоп, я пес недостойный, а ты дворянин. Я приказчик, а ты помещик...»

– А!... Сударь Рафушка, поплачешь ты нынче над своей доченькой, век не забудешь Якова Осину! – почти громко выговорил княжий приказчик и медленно пошел по темной пустевшей улице.

## IX

Месяц поднялся из-за леса и серебром залил снежные поля. Легкий мороз стоял в воздухе. Гул села Сытова замирал в отдалении. По малонаезженной, извивавшейся между снежными сугробами дороге весело скользили легкие санки. Бойкая лошадка, нарядно разукрашенная разноцветными суконными покроями, с привешенными к их концам бубенчиками, бежала без помощи кнута.

Бубенчики звенели в тихом прозрачном воздухе; громкий молодой голос выводил разудалую песню. В саночках сидели два молодых человека: Андрей Рафович Всеволодский да товарищ его и друг закадычный, Дмитрий Исаевич Суханов.

Оба они недавно и из детских-то лет вышли; первый пух покрывает их здоровые, румяные лица. На душе у них привольно и весело, и эта ясная, морозная ночь только еще больше поддает удали.

Они тоже весь день провели на торгу в Сытове и теперь возвращаются домой. Суханов гостит на праздниках у Всеволодского, да и сам он здешний: вотчина его неподалеку, всего верстах в двадцати каких-нибудь.

Отправляясь в это утро с другом Андрюшей на торг, Суханов был не в духе – ему не хотелось ехать; и он уступил только настоятельной просьбе молодого Всеволодского. Весь день он равнодушно относился к окружавшей его толкотне и веселью, отказался попить с молодыми знакомцами-соседями, зазывавшими его в свою компанию. Видно, веселье его было не здесь, а в другом месте. Только когда ему удалось под вечер отыскать Всеволодского и уговорить его немедля ехать домой, он совсем преобразился. Тоски и скуки как не бывало: поет он себе, заливается, будто всю душу молодецкую хочет вылить в этой песне.

Андрей тоже весел.

– Да полно ты, чего орешь, перестань! – говорит он, толкая под бок приятеля.

– А что, разве худо? – отвечает Суханов, прерывая песню на высокой, словно жемчуг рассыпавшейся в воздухе ноте. – Нет, брат, это славная песня. Как услышу ее али запою, ажно за душу хватает!

– Песня-то хороша, только, видишь ли, хотел я что сказать тебе, Митюша: приметил ли ты у обедни девушку в алом червленом шугае, что стояла недалеко от нас по левую руку?

– Как же, брат, заметил – ты на нее всю обедню молился.

– Хороша? А, скажи, хороша? Видал ты когда-нибудь такую красавицу?

– Видал и получше. Недалеко ходить, твоя сестра Фима не в пример лучше ее будет, – проговорил Суханов и неизвестно почему изо всей силы хлестнул лошадку.

Лошадка брыкнула, взметнула целый ком снега прямо в лицо молодым людям и помчалась по белой дороге, только полозья санок заскрипели.

– Нет, что сестра! – медленно рассуждал Андрей. – Да я про сестру и не говорю. Мне до сестриной красоты что за дело, а уж эта девушка – Господи! век ее не забуду. Вот я и хотел поговорить с тобою. Думаешь, где я весь день пробыл? Не по улице шатался, а все как есть доподлинно узнал: кто она, откуда, и теперь, что там ни говори родитель, хоть бранись, хоть нет, а частенько я буду навещать в Касимов. Слышь ты, касимовская она дворянка, сиротка. То есть мать-то есть у ней, а отец года три как помер, и на торг она приезжала с сестрой замужней да с зятем... я и свел знакомство. Машей зовут ее... Барашева Маша... Они тут все у сытовского батюшки, отца Николая, остановились, ну и я пошел туда же. Попадья кулебякой потчевала. Вот и разговорились и завели знакомство. Ах, Митя, Митя, голубчик, что за день нынче для меня праздничный да радостный, с этого вот дня ровно жить начал!

Дмитрий взглянул в лицо товарища, освещенное луною, и улыбнулся.

– Али и впрямь так полюбилась эта Маша? – проговорил он. – Ишь, глаза у тебя такие чудные, будто ты совсем другой на меня смотришь.

– Уж так-то полюбилась, так-то полюбилась – и сказать тебе не могу! – отвечал приятель. – Одно знаю, как бы там ни случилось, а быть ей моей женой. Будешь ты скоро пировать на моей свадьбе!

– Ну да что ж, дай тебе Бог! – вымолвил Дмитрий и опять хлестнул лошадку.

Он, очевидно, хотел сказать еще что-то, но остановился. Его веселье снова как будто замерло, снова будто повеяло на него тоской и грустью.

Всеволодский пристально взглянул ему в лицо и улыбнулся.

– Эх, Митя, – сказал он, – а ведь ладно было бы в один день да две свадьбы: ты с Фимой, а я с Машей. То-то бы!

– Твоими устами да мед пить, – прошептал Суханов. – Во сне вот мне все снится такое счастье, а наяву ему я и не верю. Не любит меня Фима, чуется сердце мое, не любит, а силком не возьму за себя.

И голос оборвался, и замолчал он, низко опустив голову.

– Пустое, Митя, пустое! – ободрительно крикнул Андрей и хлопнул его по плечу. – Бог тебя знает, ты уж такой уродился, только смущаешь себя, выдумываешь себе беды. И с чего это взял ты, что Фима тебя не любит? Да она, я так полагаю, сама еще понять ничего не может: любит ли, не любит ли, – совсем еще ребенок малый.

– Ребенок!... Ей, поди, уж полгода шестнадцать лет минуло.

– А вот увидим, – опять весело крикнул Андрей, – увидим, и помяни мое слово: не успеет снег растаять, быть нашим двум свадьбам.

Суханов не отвечал, но счастье и уверенность приятеля подействовали на него ободрительно, да и молодость, полная здоровых сил, заговорила. Темные мысли, темные предчувствия сменились снова надеждой. Предвкушение счастья заставило горячо биться его сердце. Он глянул кругом себя – и белые поля, переливающиеся голубым и серебряным отблеском, и яркая луна, и бесчисленные, едва заметные в ее свете звезды, вся ширь и тишина зимней ночи – все это будто спешило ему навстречу, ласкалось к его сердцу и сулило ему что-то неразгаданное, волшебное и блаженное.

Снова звуки запросились из груди его, и он, вдохнув в себя свежий морозный воздух, запел веселую, счастливую песню. Дорога поворотила направо, промелькнул лесочек, деревья которого стояли будто хрустальные, все покрытые инеем. Вот поблизости звонким лаем залились собаки. Молодые люди въехали в усадьбу Рафа Всеволодского.

Не обширны владения Рафа Родионовича Всеволодского, не много деревень и всяких полевых и лесных угодий наследовал он от своих предков, не в роскошных палатах, не среди многочисленных холопов и челядинцев живет он, а в укромном домике, бревенчатые стены которого от старости уже начинают клониться на сторону. Всего у него одна деревенька, тут же за леском, недалеко от усадьбы. Во дворе и десятка прислуги не наберется. Живет он в своем уголку тихо, неслышно; но все же имя его известно всем и каждому на сотни верст в округности, и иного богача боярина так не знают и не почитают, как знают и почитают Рафа Родионовича Всеволодского.

Давно уже, поболее четверти века будет, безвыездно поселился он в своей касимовской вотчине. Зазнали его соседи молодым воином, отслужившим ратную службу, знатно порубившим ляхов и всяких воров, наводнявших Русь в смутное ее время, а теперь Раф Родионович уже почти старцем сделался; серебром подернулись его русые кудри, согнулся крепкий стан его. Только все по-прежнему зорко и ясно глядят очи Рафа Родионовича, да из-под усов нависших мелькает прежняя благодушная улыбка.

В первый же год по своем переселении Всеволодский женился на дочери одного из ближних соседей и в неизменном согласии живет со своею женою Настасьей Филипповной. Было у них детей шестеро, да старшие волею Божьею померли еще в малолетстве; остался только сын Андрей и младшая дочка Евфимия.

Хороший хозяин Раф Родионович: окольные дворяне-помещики не могут надивиться его мудрости. Что до него было и что при нем стало! У других всякие невзгоды да беды – хлеб дурно уродится, сено от дождей погниет, к зиме недостатки, бедствие, а у Рафа Родионовича все амбары полны: зерно к зерну, трава вовремя скошена, сено сухое, душистое, пчелы роятся видимо-невидимо, мед его в Касимове торговцы с руками отнимают – лучше, говорят, этого меду и найти невозможно.

Зависть разбирает соседей при виде такой удачи, только знают они, что грешно завидовать Рафу Родионовичу – все ему дается по

трудам его великим, и к тому же над ним видимое благословение Божие за жизнь его правую и богобоязненную, за сердце его доброе, к чужой беде отзывчивое. Да, рук не покладая трудится разумный хозяин. В летнюю пору уж не ищи его в усадьбе: до зари проснется, сам осмотрит каждую скотину, раздаст приказания работникам, и в поле. Все свое владение осмотрит хозяйским глазом; у него чуть ли не каждый колос наперечет. И привольно ему дышится под знойным солнцем, среди колыхающейся желтеющей ржи, или на пасеке, в душистой гуще леса. Здесь он у себя дома, и чудится ему порою, что весь этот мир Божий, каждый кустик, каждая былинка его знают и встречают немимым приветом. И уж особенно на пасеке ему раздолье; пчелы – его любимое, сердечное дело. В ведренные дни и обедать не возвращается домой Раф Родионович. Истомится в поле на работах, доберется к своим ульям и пошлет старика пасечника в усадьбу сказать жене, чтобы обедать ему прислала, да и сама с детками пожаловала откушать медку свежего.

А то случалось и так, что он, придя на пасеку, заставал уже там и Настасью Филипповну, и деток, и обед готовый. Сюда же сходились зачастую и соседи ближние и дальние, которым было дело до Рафа Родионовича. Хозяин всегда встречал их радушно, просил разделить с ним трапезу: а уже потом, мол, и о деле поговорим – разговор-то выйдет лучше, чем на тощий желудок. Сидит себе Раф Родионович, кушает с удовольствием и поглядывает на соседа: он и без слов видит, какое такое у него дело.

А дела бывают разные. Один пришел в нужде великой: прошлогодний неурожай погубил совсем, ни хлеба, ни зерна – изворотиться нечем. Раф Родионович поможет, иной раз последним поделится.

Другому не нужно ни хлеба, ни леса – у него спор великий с соседом вышел, разобидели друг друга, разругались на чем свет стоит, и такова взаимная обида, что вот-вот поножовщина у них выйдет. Как тут быть? Одно остается – идти на суд к Рафу Родионовичу. Он человек правый, рассудит по-божески. И идут два врага к небогатому дворянину Всеволодскому, идут помимо воеводы и облеченных властью судей, кланяются ему в ноги, рассказывают свои обиды.

В таких случаях Раф Родионович совсем преображался. Добродушное лицо его делалось важным и строгим; он выслушивал

спокойно ту и другую сторону и потом несколько мгновений сидел молча, опустив голову. Но вот он поднимается, глаза его снова сияют, на устах опять светлая улыбка. Он берет врагов за руки.

– Вот то-то, люди вы! – говорит он. – Ну из-за чего муки себе всякие выдумываете? Неразумным малолеткам, тем пристало дразниться да на кулачки идти из-за всякой малости, а вы, смотрите, седина ведь в волосах, а что задумали! Жили годы дружно и мирно и вдруг врагу-дьяволу подчинились! А он-то и радуется! Вестимо дело, исконный супостат всякому миру и тишине... Одумайтесь, Бога вспомните... «несите тяготы друг друга» – великое это слово, и николи не след забывать его...

И долго говорит Раф Родионович, говорит так тихо и спокойно и в то же время с такой любовью и грустью, что мало-помалу сердца противников смиряются, и уже не мечут они злобных взоров, не слышно прежнего раздражения в их голосе. Взгляд на дело Рафа Родионовича сообщается и им, и они покорно повторяют ему: «Что же, мы ничего... вестимо... до сей поры промеж нас ничего такого не было... рассуди, Раф Родионович, как рассудишь, так оно и будет!...»

Он рассудит их дела, найдет, кто прав, кто виноват. Если один сосед у другого присвоил незаконно землю или угодые какое – скажет он, что беспрременно возратить нужно, – и присвоивший клянется возратить. Враги мирятся, лобызаются искренно и, кланяясь в пояс судье своему, возвращаются домой успокоенные и довольные.

Случается также, что Раф Родионович вмешивается в дела еще более трудные, в такие дела, которых человеку и судить-то почти невозможно: жена на мужа ему жалуется, а то и сам он видит чью-либо жестокость и не в силах стерпеть этого. В таких случаях он отправляется и без зова к соседу и очень часто успевает добрым да разумным словом, спокойным взглядом на дело вернуть нарушенный мир в семействе, утишить гнев жестокого мужа.

И с каждым годом растет добрая слава старика Всеволодского, и нет такой дворянской семьи в соседстве, где его имя не произносилось бы с уважением.

Но, уважая и прославляя Рафа Родионовича, не забывали добрые соседи и его Настасью Филипповну. «Вот так семейка благодатная! – говорят. – Святые люди – дай Бог им всякого счастья... Вот так бы

привелось и всем век прожить друг с другом, как живут Раф Родионыч да Настасья Филипповна...»

И действительно, в двадцать пять лет семейной жизни мало было темных дней у Всеволодских. Кругом поглядишь, и невесть что творится: иные мужья жен побоями в гроб вгоняют, пьянствуют и бесчинствуют, а то и жены мужей добрых да смирных едят поедом. У Всеволодских не то – ни криков, ни брани, ни драки. Вечно ласка да любовь. И в этом заслуга больше со стороны Настасьи Филипповны. Раф Родионович хоть человек и справедливый, добрый христианин, но и у него подчас нрав крутенок. Он знает себя хозяином в своем доме, слово его закон; противоречий не любит. Попадись ему жена другая – он бы, пожалуй, за неразумность и побил исправно – человек в гневе сам себя не помнит. Только до гнева Настасья Филипповна его никогда не доводила – сразу, с первого же дня замужества сумела она понять его, отлично знала, по одной ей ведомым приметам, в какой день и час можно и поперечить мужу, а в какой следует беспрекословно творить его волю.



И в детях были счастливы Всеволодские – на радость и на утешение им выросли Андрей и Фима.

Недаром вздыхал по Фиме молодой Суханов – молва о красоте дочки Рафа Родионовича разносилась далеко; старики говорили, что и не запомнят такой красавицы. Ей только что шестнадцать лет исполнилось, но она была уже совсем развившаяся, стройная и высокая девушка. Каждому было любо глядеть на лицо ее белое да румяное, вечно озаренное беззаботной улыбкой, каждому как-то светлее на душе становилось от взгляда ее глаз, глубоких и нежных, окаймленных длинными, темными ресницами. Но еще краше, еще милее делалась Фима, когда звонкий, детский смех оживлял все существо ее. А смеялась она часто, потому что вся жизнь ее была полна радости и веселья. Несмотря на стыдливый румянец, порою вспыхивающий уже на щеках ее, несмотря на густую светло-русую косу по колена да на высокую грудь девичью – Фима во многом была еще совсем ребенком. Для нее еще не начался тот период жизни, когда весь мир представляется совсем не таким, каков он в действительности, а то беспричинно грустным, то беспричинно блаженным.

Фима просыпалась каждое утро с ощущением свежести, силы и неопределенного, но доброго и широкого чувства, которое сейчас же выражалось в ее смехе, в ее ласках, расточаемых ею всем, начиная с ее отца, матери, старой няни Пафнутьевны и кончая последней дворовой собакой. Если время было летнее и погожее, Фима бежала в поле, в лес, за васильками, за грибами и ягодами. Ее ноги не знали усталости, она не могла успокоиться, пока не обегает всех отцовских владений. На каждом шагу новый предмет для ее наблюдений и радости: то новое птичье гнездышко, то поспевшие ягоды, которые вчера еще были совсем зелеными, то невиданная, диковинная букашка. Бродит себе Фима, оглашая лес звонкой песнью, а то вдруг остановится, долго глядит вокруг себя – и даже всплеснет руками: так все чудно, так благодатно устроено Господом Богом.

Подруг у Фимы не было, но было два добрых товарища: брат Андрей да Митя Суханов. Росли они вместе, вместе и забавлялись. Летом еще мальчишки от нее как-то отбивались – у них были свои потехи: рыбная ловля, всякая охота лесная; но зато зимою Фима почти не расставалась с ними. Митя делал для нее салазки, катал ее с горы ледяной, а по вечерам забирались они к Пафнутьевне на теплую лежанку, и старуха сказывала им сказки. Это было самое блаженное время для Фимы – ждет не дождется она вечера. В тепле и полусвете, среди тишины невозмутимой, пестрые, причудливые картины вырастают и уносят Фиму в заколдованный мир свой. Кончены сказки, она уже в мягкой постели, но мир этот продолжает жить вокруг и часто преследует ее в ночных грезах...

Проходили годы, выростала Фима; но все еще медлило оставлять ее детство, хоть порою она и начинала чувствовать что-то новое, какие-то неясные вопросы. А между тем соседи стали почитать ее невестой, и красота ее даже вышла причиной большой обиды, нанесенной Рафу Родионовичу.

Как ни велика была добрая слава старика Всеволодского, как ни много было у него друзей и почитателей, а все же и враги отыскивались. К числу таких врагов принадлежали, между прочим, касимовский воевода Обручев да почти все дьяки и подьячие. Все это начальство привыкло всячески обижать небогатых помещиков, обирать их по возможности; привыкло видеть, что эти помещики беспрекословно подчиняются такому обиранию, да еще и кланяются в пояс. Ну а у Рафа голова была непреклонная, да и обирать его оказывалось трудным: за свое добро он стоял сколько сил хватало. Вот и начались у него вечные неприятности с касимовским воеводой и дьяками: готовы они все были сжить его со света, да не к чему придраться – жалоб на него никаких не поступало, в каждом деле он вел себя осмотрительно и разумно. Но нигде, ни в Касимове, ни в иных местах, не было у Рафа Родионовича такого кровного врага, как приказчик князя Сонцева Яков Осина.

Обширные вотчины князя находились недалеко от усадьбы Всеволодского.

Осина, сумевший обойти и воеводу, и всех влиятельных людей Касимова, пользовался немалым почетом: все позабыли о его худородстве. Да и сам Раф Родионович в первое время, то есть года два

тому назад, принимал его у себя как равного и даже любил с ним беседовать. Он видел в нем человека умного и ловкого, понимавшего толк в хозяйстве, умевшего подчас и развеселить любопытными рассказами из своей полной приключений жизни. Даже дружба было завязалась между Всеволодским и Осиной. Но с год тому будет времени, как настал конец этой дружбе, и превратилась она во вражду лютую.

Случилось это по тому поводу, что Осина, давно уж зорко присматривавшийся к быстро выраставшей и хорошевшей Фиме, вдруг попросил у Всеволодского руки его дочери.

Раф Родионович ушам своим не поверил и молча сидел перед Осиной, во все глаза глядя на него и не находя слов для ответа. Осина был человек лет за сорок, с некрасивым и неприятным красным лицом. Фима была красавица, и ей в то время еще и шестнадцати лет не исполнилось.

Но дело не в разнице лет, не в жениховом безобразии – с лица не воду пить, а сорок лет, что еще за старость для мужчины! Дело в том, что Фима дочь хоть и небогатого, но столбового дворянина, а Осина – холоп княжеский, только сумевший завладеть доверием своего господина и возведенный им на всеильную должность приказчика.

Долго не мог опомниться Раф Родионович; наконец вся кровь ударила ему в голову...

Они в это время сидели за столом после трапезы и были одни – одинешеньки в горнице.

Отшвырнул от себя скамью Раф Родионович и во весь рост поднялся перед Осиную.

– Что ты сказал? повтори! – произнес он упавшим голосом.

Осина вздрогнул, изумленно и опасливо взглянул на лицо Всеволодского, но выговорил твердым голосом:

– Что ж я сказал? Али ты не расслышал, государь Раф Родионович? Надоела мне холостая жизнь моя, завести добрую хозяйку хочется, так вот и прошу тебя, отдай мне свою доченьку, Евфимию Рафовну... Я ее покоить и лелеять буду – она мне пришлась по мыслям...

– Холоп! – закричал Всеволодский так, что дрогнули бревенчатые стены. – Я тебя в дом к себе принимал, я с тобой из одного ковша пил. Я беседу с тобой вел как с человеком, а ты вот что задумал! Да как

тебя нелегкая надоумила сказать такое слово? Кто ты – и кто я... и кто дочь моя?

Осина тоже поднялся.

Красное лицо его сделалось совсем багровым, рот перекосялся.

– Кто ты и кто я? – прошипел он. – Ты почти нищий, вон домишко-то твой еле держится, по углам дырья: кулак пройти может, а я... у меня сундуки от добра ломаются. Передо мною-то вон касимовский воевода шапку ломает, дружкой меня своим величает, так я очень помню – кто ты и кто я! Да и ты не кичись своим дворянством. Пожалел я твою девку, вижу: бедная, скоро совсем мерзнуть будет в твоей дрянной лачуге...

Он хотел говорить еще, но ему не удалось этого. Раф Родионович, опрокинув тяжелый дубовый стол, схватил Осину одной рукой за шиворот, а другою, развернувшись, изо всей силы ударил его по щеке.

– Вот, собака! – крикнул он и так толкнул оторопевшего Осину, что тот ударился о притолоку.

Едва успев захватить свою шапку, приказчик выскочил из горницы.

– Попомнишь ты это, попомнишь! – шептал он, стуча зубами и опрометью бросаясь к ожидавшей его тележке.

Сразу отплатить Всеволодскому он не мог, ему нужно было хорошенько обдумать мщение. Наконец он его обдумал.

## XII

Сдав лошадь встретившему их у ворот молодцу, Андрей Всеволодский и Суханов, весело разговаривая, пошли в домик. Пройдя темные сени, они отворили тяжелую скрипучую дверь и очутились в просторном покое; здесь их уже дожидался ужин, и все семейство было в сборе. Молодые люди набожно помолились перед иконами и стали здороваться.

– Эх вы, шатуны! – сдерживая улыбку и будто бы сердясь, молвил Раф Родионович, подвигаясь на лавке и давая возле себя место прибывшим. – Сказали, засветло беспременно домой будете, а сами на ночь глядя вернулись... Ты, Андрей, не бери пример с Мити – на того нет ни суда, ни расправы, я ему чужой, а отца с матерью Господь прибрал до времени...

– Я, Раф Родионович, всегда твоего слова послушаюсь, – перебил Суханов, – ты мне заместо отца родного, так уж если бранишь Андрея, брани и меня – мы вместе.

– Ну ладно, ладно, – сказал Всеволодский, опуская свою деревянную ложку в миску с жирной похлебкой, – есть вот хочу, бранить-то мне вас некогда.

Андрей начал было рассказывать про торг, но отец перебил его:

– Да ты поешь сперва, потом Богу помолись, поблагодари Его за питье и яство, а затем уж и выкладывай свои рассказы.

Андрей замолчал и принялся ужинать, но ни он, ни его приятель на этот раз не выказывали большого аппетита.

– Видно, в Сытове дня на три наелись, – заметила Настасья Филипповна.

Они ничего не ответили, так оба были заняты своими мыслями.

Андрей не мог позабыть новую знакомку; ему казалось, что он все еще видит ее, слышит ее голос.

А Дмитрий Суханов, то вспыхивая, то бледнея, поглядывал на Фиму он замечал, что и ей хочется подойти к ним поближе, поболтать, посмеяться и что она сдерживается только во время ужина, боясь разгневать отца.

Но вот незатейливый ужин покончен, все встали из-за стола, помолились. Андрей выложил свои гостинцы сестре: мешочек со сладостями да яркую ленту в косу. Фима благодарит его, смеется, покраснелась...

– А я и впрямь думала: уж не напали ли воры на вас или звери в лесу! – говорит она своим певучим голосом, обращаясь к Дмитрию. – Легко ли, чуть свет выехали – и до ночи. Право, весь день тоска такая, на дворе вон гора ледяная, а покатать-то и некому...

Суханов чуть не плачет от слов этих. Весь день мог провести с нею, с горы катать ее! И зачем это послушался Андрея, как тень шатался в Сытове.

Между тем Раф Родионович расспрашивает сына, кого он видел на торгу и что там было. Андрей начинает заминаться, потому что весь день только и видел, что Машу Барашеву, а остального почти и не заметил!

«Нужно выручить друга!»

Суханов отходит от Фимы и подсаживается к хозяину. Теперь уж не Андрей, а он отвечает на расспросы Рафа Родионовича, и Андрей благодарит его взглядом.

– Ты говоришь, больше десятка до смерти избиты? – со вздохом переспрашивает старик Всеволодский, выслушав рассказ Дмитрия.

– Да, пожалуй, и больше счесть можно, особенно к вечеру.

– Ну да, ну да! – тихо повторяет Раф Родионович. – Все то же пьянство, совсем ныне спился народ, а кто сам не спился, того добрые люди спаивают; за чарку хмельного на разбой, на душегубство идти готовы! Вон наместник сосед приезжал, сказывал: опять по нашим местам шалить стали – целые деревни разоряют, и никто не заступится. Воеводы наши... ну да уж что тут и говорить, авось Господь наконец и пошлет избавление нам, умудрит царя-батюшку, все зло наше лютое сделает ему ведомым...

Старик Всеволодский совсем расстроил себя мрачными мыслями и, простясь с домочадцами, ушел в свою опочивальню. Настасья Филипповна вышла тоже зачем-то по хозяйству. Андрей взглянул на сестру, потом на Суханова и потрянул головою.

– Пойти-ка на конюшню, посмотреть: задан ли корм Бурке, – проговорил он.

Дмитрий слышал его шаги в сенях, слышал потом, как хлопнула наружная дверь. Он остался вдвоем с Фимой, он глядел на нее не отрываясь, точно видел ее в первый раз, и тоскливо становилось у него на сердце. Она не глядит на него, видно – все равно ей, здесь он или нет. Крепко, всей грудью вздохнул Дмитрий и опустил голову.

– Что это ты, Митрий Исаич? чего вздыхаешь? – тихо проговорила Фима.

– А чего же радоваться? – вдруг с волнением начал он, подходя к ней. – Гляжу вот я на тебя, ты ли это? бывало, вспомни сама, говорила: ждешь меня не дождешься, – а теперь и глазком на меня взглянуть не хочешь, теперь я тебе не Митя, а Митрий Исаич...

Он проговорил это с такою тоскою, что у самой Фимы защемило сердце, ей вдруг стало жалко Дмитрия, хотя она и не понимала ни его тоски, ни своей к нему жалости.

– Прости, коли я чем огорчила тебя, – сказала она, тоже приподнимаясь, – только уж и не знаю, чем это я тебя огорчила, а что Митрием Исаичем назвала, так ведь вишь ты какой вырос, вон и усы у тебя, и борода..., Да ну ладно, ну Митя...

И она улыбалась ему, ее глаза ласкали его долгим и нежным взглядом, но она не могла прочесть в лице его прежнего веселья. Грустным и бледным стоял он перед ней, стоял таким жалким.

– Да что это ты, право?! – испуганно сказала она, кладя ему на плечо свою руку. – Али там, на торгу, тебя испортили? Ну, Митя, поздно, спать пора – чай, Пафнутьевна ждет меня. Спи спокойно, а утром, смотри, проснись не таким, какой нынче, такого я и видеть не хочу. Завтра с гор кататься... слышишь, Митя, непременно!...

Он хотел сказать что-то, но не мог. Ему казалось, что никогда еще она не была так хороша, как в этот вечер, и никогда еще так не любил он ее.

– Спокойной ночи, Митя! – повторила она, быстрым движением нагнула к себе его голову, крепко поцеловала его и скрылась.

Несколько мгновений он стоял не шевелясь, с блаженным лицом и затуманившимися глазами. Что-то мучительное и в то же время отрадное стало подниматься в груди его, дышать становилось тяжело от этого нежданного и неизведанного блаженства. Дмитрий бессильно опустился на скамью и вдруг зарыдал неудержимо и не сознавая, что он громко рыдает.

По счастью, Раф Родионович крепко спал в соседней горенке и ничего не слышал.

– Полоумный! Что ты? – над самым ухом Суханова раздался голос Андрея.

– Ах, кабы знал да ведал ты – радостно у меня на сердце, Андрюша!...

Внучек мамки Пафнутьевны, приставленный ходить за Андреем Рафычем, принес перины, подушки, одеяла и устроил на скамьях под образами две постели молодым людям. Отдельной горницы для сына не было в доме Всеволодского.

Андрею и Дмитрию хотелось бы подольше побеседовать, но они боялись разбудить Рафа Родионовича, который и так что-то кряхтеть стал за тонкой стеною, потому они тотчас же разделись, улеглись на перины и замолчали.

Тихий свет лампы у киота едва освещал просторную горницу с дубовым столом посредине, с большой изразцовой печью в углу, с единственным и теперь совсем заледенелым оконцем. За печью трещал сверчок, и эти монотонные звуки мало-помалу навели дремоту на Андрея. Розовые его грезы оборвались, и он заснул крепко и сладко.

Но Суханов заснуть не мог и весь в волнении и трепете то и дело метался под своим стеганым теплым одеялом.

Никогда не мог он помыслить, что так окончится для него сегодняшней день. Еще недавно, возвращаясь из Сытова, он был полон грусти и сомнений... и вдруг!...

Долго, долго дождался он этого счастья, дождался его целые годы, потому что не со вчерашнего дня полюбил он Фиму. Он знал ее совсем маленькой девочкой.

Раф Родионович и отец Дмитрия по соседству были большими, старыми приятелями: они еще в детстве бегали вместе. Потом пришлось им рука об руку воевать с врагами отечества. Время их ратной службы оставило в них на всю жизнь много горьких и отрадных воспоминаний. Это было тяжелое и великое время.

Всеволодский и Суханов принадлежали к числу тех нескольких сотен воинов, которые под начальством воеводы князя Роци-Долгорукова защищали Свято-Троицкую Лавру от Сапеги.

Во время долгих месяцев знаменитой осады оба они выказали себя истинными героями.



Измученными и зачастую голодными выходили они на вылазки; как львы рублились, не раз были ранены, но все же сохранил их Господь, а они своими руками немало ляхов уложили на вечный сон под стенами Святого Сергия.

Там, в Святой обители, Исай Суханов нашел себе и жену.

Раз во время вылазки он был ранен в голову. Добрые товарищи подняли его совсем бесчувственного и снесли в монастырскую палату, битком набитую ранеными и больными. Больше суток был он в беспмятстве, а когда очнулся – увидел над собою красивую молодую девушку. Она перевязывала его больную голову. Его мучила жажда. «Пить!» – прошептал он.

Девушка сейчас же принесла ему кружку с водою, напоила его и, в то время как он пил, все повторяла: «Очнулся! ну, слава Богу, теперь жив будешь, отец Михей сказывал, коли очнется, так все пустое, голова как раз заживет».

И такая радость звучала в ее голосе, так ласково она глядела! Ничего не сказал ей тогда Суханов, но с этой минуты все стало ему казаться иным, чем прежде. Пока лежал, минуты считал, когда войдет она к, раненым, а войдет, оторваться он от нее не может. Рана скоро зажила, и опять он стал ходить на вылазки, только теперь явилась у него новая забота и радость – его Катерина.

Она была одною из приближенных царевны Ксении. Полюбился ей храбрый воин Суханов. Частенько сама недоедала, а ему приносила что случалось.

Любовь да ласки еще больше одушевляли воина. Шел он в лютую битву с врагами, а сам думал: «Дождается меня Катерина, трепещет за меня страхом ее сердце!...»

И удвоилась сила рук его, и любовь счастливая невредимым выносила его из битвы.

Но были тяжкие дни и недели. От тесноты да всяких лишений началась зараза в монастыре, и много мужчин, женщин и детей помирать стало. Заболела и Катерина. Сердце Суханова разрывалось на части. Хотелось быть при ней, а нельзя этого. Стоит он на своем посту у стены каменной или идет на вылазку, а сам все думает: «Что-то теперь с Катериною. Может, уж нет ее! Может, не увижу!...»

Но Катерина выдержала страшную болезнь и в живых осталась.

Прошли тяжелые дни осады. Войска Сапеги удалились. В последней схватке Суханов снова был ранен и остался в монастыре на попечении своей милой.

Она его выходила, и потом, когда смуты земли русской улеглись, когда поляки и воры были выгнаны со святой Руси, когда на престол царей русских, голосом всего народа, был избран молодой Михаил Федорович, – Суханов сложил с себя бранные доспехи, обвенчался у Св. Сергия с Катериной и вернулся на родину, в касимовскую свою вотчину.

К тому же времени возвратился и Всеволодский, тоже женился, и опять зажили друзья-соседи мирно и тихо, вспоминая былое за кружкой хмельной браги.

Но недолгим было семейное счастье Суханова. Года через четыре после свадьбы, родив сына Дмитрия, Катерина умерла.

Суханов второй раз не женился; всю любовь свою и все свои надежды вложил он в своего сына, никуда не отпускал его от себя, кроме как к соседу и другу Всеволодскому: там и Дмитрий, да и сам Суханов часто гостевали. И так шли долгие годы. Когда начала подрастать Фима, то невольно мысли старых товарищей останавливались на возможности породниться в будущем.

Года три тому назад Суханов, неосторожно поевши чего-то вредного, схватил лютую болезнь и помер.

Дмитрий на двадцатом году остался круглым сиротой и распорядителем отцовского наследия.

С этого времени он сделался окончательно своим в доме Всеволодского.

Всем добрым, молодым сердцем любил он и товарища своего Андрея, и Рафа Родионовича, и Настасью Филипповну, но больше их всех и больше всего на свете любил он Фиму. На его глазах быстро вырастала и расцветала красавица. Но не одна красота ее производила на него такое неотразимое впечатление. Она могла быть и не красавицей, а он все же любил бы ее, потому что, как ему казалось, никого на свете не было добрее и милее Фимы. С каждым днем любил он ее больше и больше. Она обращалась с ним как с братом; но в последнее время, превратившись во взрослую девушку и уже всецело завладев Дмитрием, она вдруг сделалась с ним какою-то странною. Он заметил, что она вдруг стала от него как будто отдаляться и говорила с

ним и глядела на него совсем иначе, чем прежде. Иногда она забудется и снова превращается в прежнего веселого, ласкового и доверчивого ребенка. Пройдет час, другой – ее не узнаешь, будто мысль какая-то мелькнет у ней, и она отходит от Дмитрия, глаза ее потухают. Он смотрит, смотрит и чувствует, что вот он стал совсем чужой для нее, что она его не видит, не замечает, о нем не думает.

Он не смел с ней говорить о своем чувстве, а когда раз попробовал намекнуть ей об этом, она посмотрела на него недоумевающим, но строгим взглядом и вышла из горницы. У Дмитрия и руки опустились; недели с три не показывался он к Всеволодским, так что наконец Раф Родионович к нему заехал и привез его с собою.

Но теперь все это кончено, все эти сомнения! Фима его поцеловала, никогда он не забудет этого поцелуя, хоть он и не первый. Ведь она прежде – и в детстве, и даже не так давно еще, тому года полтора-два каких-нибудь, – не раз целовала его, но то было совсем другое, то были детские, сестринские поцелуи. Этот же поцелуй – он огнем ожег его, он наполнил его невыносимым блаженством, от которого теперь кружится голова его, от которого не может он заснуть и не заснет во всю эту долгую зимнюю ночь.

Он глядит на бледно мерцающий огонек лампадки и то начинает молиться и благодарить Бога за свое благополучие, то предается счастливым мечтаниям: «Так хорошо жить на свете! Нечего бояться теперь. Нужно переговорить с Рафом Родионовичем и Настасьей Филипповной, а потом честным пирком да за свадебку».

«Только нет, прежде всего нужно приготовить дорогой Фиме теплое гнездышко. Старый домик в Сухановке подновить надо, все устроить...»

И размышляет Дмитрий о том, что нужно сделать, и задумывает ехать в Касимов приторговать там мастеров и начать перестройки да поправки.

Не много казны отец ему оставил, но все же у него есть кое-что про запас. Теперь самое время тряхнуть мошною. Фима останется довольна.

Так скучно, мертво, невыносимо было в его укромном домике со смерти отца – и как там все скоро изменится! Жизнь с Фимой, длинные зимние вечера в теплой горенке, длинные летние дни, озаренные солнечным светом, в душистой зелени старого заросшего

сада, где столько груш и яблок, где летом всегда так уютно, где в ветвях поют, заливаются птицы...

Но что это?

Дмитрий оторвался от своих мечтаний и вернулся к действительности.

Странные звуки поразили его ухо. Что это? как будто кони где-то заржали... звуки голосов... что ж это значит? Нужно встать... недалеко и полночь... Уж не пожар ли случился? Нужно встать...

Он приподнялся на постели, прислушивается. Да, голоса... ближе... как будто под самыми окнами. Вот кто-то стучится в двери!...

Дмитрий вскочил и стал будить Андрея.

Тот долго не мог ничего понять спросонья. Но стук в двери повторяется. Уж Раф Родионович проснулся и кричит: «Кто там? Что за шум такой?»

Вдруг наружная дверь дома подалась под чьим-то сильным напором и распахнулась.

Дмитрий и Андрей стали быстро одеваться.

Раф Родионович выглянул в сени и попятился.

– Разбойники! – крикнул он.

Но голос его замер.

В полумраке горницы, освещенной только лампадкой, Дмитрий едва различил, что кто-то навалился на Рафа Родионовича.

Схватив со стены первое попавшееся оружие, Суханов бросился вперед, за ним Андрей.

Перед ними несколько неизвестных людей. Рафу Родионовичу зажали рот платком, вяжут руки. И вот с той стороны, где Настасья Филипповна и Фима, явственно доносятся отчаянные крики и вопли.

– Спасай отца! Не робей! – крикнул громким голосом Дмитрий Андрею и, направо и налево махая тяжелым топором и заставляя пятиться перед собою вломившихся разбойников, пробился из горницы и кинулся на женскую половину.

Дверь в комнату Настасьи Филипповны и Фимы была распахнута настежь. Дмитрий вбежал в нее и сразу не мог ничего разглядеть в полутьме. Он слышал только отчаянные вопли, среди которых узнавал голос Фимы. Он видел в двух шагах от себя темную массу борющихся, но еще шаг – и он понял, в чем дело. Какой-то рослый человек, одной рукой обхватив Фиму, крепко держал ее, а другою отбивался от Настасьи Филипповны и Пафнутьевны.

Они старались загородить ему выход из горницы, старались вырвать у него Фиму.

Но он, очевидно, был очень силен, и долгая борьба с ним для них оказывалась невозможной. Они могли только кричать и звать к себе на помощь.

Вдруг разбойник, слышав шаги вбежавшего Дмитрия, обернулся в его сторону, и Дмитрий разглядел знакомое лицо – лицо Осины. Он знал историю сватовства его, и теперь все ему стало ясно. Ужас и злоба охватили его, рука с топором поднялась на мгновение, и он раскроил бы голову княжескому приказчику, но тот заметил его движение и отбежал, не выпуская, однако, Фиму, которая, в длинной белой сорочке, с распущенными волосами, уже не кричала, а только истерично рыдала и слабо билась в крепких руках приказчика.

«Убить! убить злодея! положить его тут на месте!» – мелькнуло в голове Дмитрия.

Но он содрогнулся перед этой мыслью об убийстве.

Собрав все свои силы, он кинулся на Осину и в одно мгновение вырвал из рук его Фиму.

Как ни крепок и силен был приказчик, но он не ожидал нападения. Он был уже утомлен борьбою. Он на мгновение опустил руки, собираясь ловчее сбить с ног нежданного противника, но в то же самое время Дмитрий ударил его кулаком в грудь, налег на него всем телом и повалил на пол.

– Давайте ширинки, скорее! Скрутим ему руки! – закричал он.

Фима сидела на полу, дрожа всем телом и заливаясь слезами. Но Настасья Филипповна и Пафнутьевна еще не совсем обезумели от

ужаса.

Они кинулись за ширинками и через несколько мгновений подбежали с ними к Дмитрию.

Как ни выбивался, как ни кричал приказчик, а скоро Дмитрий, с помощью женщин, скрутил ему руки и ноги, сунул в рот кусок полотна. Он не мог пошевеливаться, он был теперь безвреден.

«Но ведь вот, может быть, сейчас вбегут другие, и сколько их, разбойников, кто их там знает? да и что делается на другой половине дома? что с Андреем, Рафом Родионовичем? Нужно поднять крестьян, нужно позвать кого-нибудь на помощь!»

Все эти мысли зараз, одна перегоняя другую, мелькнули в голове Дмитрия. Что ж ему делать? бежать, узнавать, помогать там... а здесь оставить Фиму – разве это возможно?

Однако нужно на что-нибудь решиться. Он только выйдет в сени и сейчас вернется. Он направился к двери, но Настасья Филипповна и Пафнутьевна удержали его за полы кафтана.

– Митенька, голубчик, не оставляй нас, ради Христа! всех нас разбойники прирежут! – вопили они...

И он остался.

А там – то что же? Там, очевидно, было неладно! Слышно было, как кричат, ругаются, хлопают дверью... Что-то тяжело падает на пол, так что даже трясутся стены.

Старая Пафнутьевна пришла в себя и заикаясь, дрожащим от страха голосом проговорила:

– Пойду-ка я взгляну, а то на двор выбегу, людей кликну. А встретят, убьют, ну туда мне, старой, и дорога!

Она, спотыкаясь и шатаясь, вышла в сени. Прошло несколько тревожных минут.

Фима все сидела на полу, очевидно не понимая, что кругом нее творится.

Настасья Филипповна, стуча зубами и захлебываясь от рыданий, стояла над нею, безумно глядя на дверь.

Она крепко прижала Фиму к себе, охватила ее руками. Ее материнские руки так и сжались, как железные, – трудно будет вырвать из них Фиму.

Осина бьется в углу горницы. Он напрягает все силы, чтобы разорвать свои путы, – но это невозможно. Толстое полотно крепко

всего его стянуло, да и сам он привязан к тяжелой кровати. Трещит эта кровать от его усилий, трещат его кости, но ничего не может сделать он и только слабеет от борьбы напрасной.

Дмитрий стоит у двери с топором наготове. Будь что будет, хоть кровь пролить придется, а первого, кто попробует ворваться в горницу, он уложит на месте.

Но вот в сенях слышны шаги Пафнутьевны.

– Ахти нам! – кричит она. – Разбойников много. Наши с ними на дворе дерутся. Что-то будет?!

– Голубчик Митенька, – прошептала Настасья Филипповна. – Если всем нам смерть пришла, так уж, значит, такова воля Божия! А спаси ты хоть Фиму, выведи ты ее отсюда, укрой хоть на деревне, хоть где хочешь...

Дмитрий вздрогнул.

Как это до сих пор не пришла ему такая мысль в голову?! Сколько времени даром потерял! Конечно, из дому бежать нужно! Но на дворе дерутся, на дворе много разбойников, а он один.

Настасья Филипповна будто угадала, о чем он думал.

– Тут из сеней калиточка на задворки, может, там нет никого, – шепнула она. – Держи дверь-то! Я Фимушку сейчас одену.

И она, с помощью Пафнутьевны, стала кое-как снаряжать Фиму, которая сама ничего не понимала и машинально подчинялась всему, что с ней делали.

Вот на ногах ее теплые сапожки, вот она сама закутана в меховую шубку.

– Веди ее, Митя, – говорит Настасья Филипповна, – а с нами пусть будет что Господу угодно!

Она бросается к дочери и порывисто крестит ее.

– Дитяtko мое ненаглядное, свижусь ли с тобою?

Фима очнулась от этих последних слов матери.

– А ты, матушка? – крикнула она. – А ты, мамка? Без вас я не пойду отсюда!

И старая мамка, и Настасья Филипповна не одеты; а минута идет за минутой...

Кое– как похватали они одежду, первое, что попало под руку.

– Господи помилуй, авось и удастся!

Они уже в сенях. Дмитрий запер дверь в опочивальню.

– Кто тут еще? – раздался над ними громкий голос.

Чья– то тяжелая рука схватила за плечо Настасью Филипповну. Но Дмитрий уж рядом. Он замахнулся топором, неведомый человек крикнул и повалился.

Отперта спасительная дверка. В душные сени клубами врывается морозный воздух; из-за тесового навеса глянул свет луны. Они на свободе. А за ними в снях уже раздаются крики.

Дмитрий схватил на руки Фиму, шепнул Настасье Филипповне и мамке: «Не отставайте, ради Бога!» – и побежал, спотыкаясь о снежные сугробы, увязая в хрустевшем снегу и снова выкарабкиваясь со своей дорогой ношей.

Следом за ним, забывши усталость, спешили Всеволодская и мамка.

Тут направо, еще несколько шагов, – и начинаются крестьянские избы. Но большой шум и крики слышны из деревни; не на одну усадьбу Рафа Родионовича напали разбойники. Видно, их много. Забрались они в крестьянские избы.

Но что это такое?

У частокола привязана лошадь с санями.

Вот оно – спасенье!

Дмитрий едва не крикнул от радости.

В один миг был он около санок, бережно положил в них Фиму, махнул рукою двум женщинам и отвязал лошадь.

Настасья Филипповна и Пафнутьевна кое-как дотащились до саней и почти без чувств упали в них.

Дмитрий хлестнул вожжами, выхватил кол из загородки и, нещадно колотя им по бокам лошади, пустился через снежные поля к своей усадьбе.

«Теперь не догонят! – радостно думал он. – Теперь она спасена! Приеду – всех подниму на ноги, и пускай приходят разбойники, пусть хоть сотня их, со всеми управлюсь!»

И он продолжал колотить несчастную лошадь, не замечая, что она и так летит как стрела и пар от нее идет во все стороны.



Долго пришлось Суханову кричать и стучаться в ворота своей усадьбы; все в ней было темно и тихо, только собаки подняли оглушительный лай. Наконец в щели одной из ставень мелькнул свет, тяжелые засовы двери звякнули. Дворовые, узнав голос своего господина, заспанные и полураздетые, кинулись ему навстречу.

Сдав Фиму с матерью и мамкой на руки старой ключнице, Дмитрий сейчас же кликнул старика Прова, своего дядьку, и рассказал ему, в чем дело.

– Что же ты теперь, батюшка Митрий Исаич, делать задумал? – спросил Пров.

– Да что делать? Вестимо, медлить ни минуты нельзя; беги ты, Пров, скорей на деревню мужиков собирать, и чтоб шли с дубьем да топорами, а я дворовых вооружу всем, что есть в доме, и скорей к Рафу Родионычу на конях и бегом...

– Так-то оно так, – медленно проговорил, почесывая свою седую голову, Пров. – Само собою, Рафа Родивоныча нельзя в такой напасти оставить, только мужики-то наши... не знаю уж, как и сговорюсь с ними... Бегу, батюшка, бегу! – быстро прибавил он, заметив нетерпеливое движение Суханова.

Захватив тулуп и шапку, он кинулся на деревню так быстро, как только позволяли ему старые ноги.

Ключница и две сенные девушки хлопотали около приезжих, сильно прозябших и находившихся в состоянии, близком к помешательству.

Настасья Филипповна, обнявши Фиму и не отпуская ее от себя, навзрыд плакала, говорила бессвязные речи, а то вдруг начинала поминать мужа и сына и хотела бежать к ним из дому, так что ее приходилось удерживать силою. Фима сидела на лавке в полном оцепенении, дрожа всем телом, не плача и не говоря ни слова. Пафнутьевна стояла на одном месте, как-то странно разводила руками и все твердила:

– Ахти, батюшки! Ох, ох! Царица небесная!

Но вдруг она пришла в себя, очнулась и засуетилась вместе с сухановской ключницей.

– Матушки! – крикнула она, всплеснув руками и опускаясь на пол перед Настасьей Филипповной. – Что же это такое? Ведь зима, мороз на дворе, а она-то, голубушка моя, в одной сорочке под шубкою, а на ножках лапотки ночные, совсем ведь застудится!... Прости меня, окаянную, Настасья Филипповна!... Фиму снарядила, а тебя-то я так выпустила. Голубушки мои, девушки, тащите вино скорей растирать боярыню!

И, говоря это, Пафнутьевна не замечала, что сама она дрожит всем телом, что сама она проехала по морозу в каком-то старом одеяле и с босыми ногами.

Девушки засуетились: было принесено и вино для растирания, и горячая вода с яблочным и малиновым настоем.

Между тем Дмитрий уже собрал всех своих дворовых, раздал им старое отцовское оружие. Из конюшни вывели шестерку лошадей и закладывали их в несколько саней. Дмитрий, с польской пищалью в руках и турецким кинжалом за поясом, был уже на крыльце, поджидая Прова.

– Ну что, чего ты так долго? – закричал он, заметив подбегавшего дядьку.

– Ох, силушки моей нету! – отвечал старик, едва переводя дух. – И бегал-то по-пустому – не идут, и только. Пущай, говорят, Митрий Исаич назавтра хоть всех нас до единого в воротах повесит, а мы не тронемся.

– Что же это, Господи! – отчаянно воскликнул Суханов. – Там, может, Рафа Родионыча с Андреем убили давно, а они, поганые, хуже зверя всякого!

– Батюшка, – Митрий Исаич! – тихо и печально произнес Пров. – Что же им и делать-то? Знамо – каждому своя рубаха к телу ближе. Поди тут, толкуй с ними! Бают: пойдём мы, это, на разбойников, а те нас побьют до смерти да назавтра же дворы наши в разор разорят.

– Как же теперь быть, Пров? – отчаянно повторял Дмитрий. – Ведь вот нас всего семь человек, а других нужно при доме оставить, – не ровен час – сюда те дьяволы нагрянут... а туда их ведь видимо-невидимо понаехало...

– Авось Господь милостив, – своим спокойным голосом проговорил Пров. – Чего заранее-то раздумывать. Едем, что-ли, батюшка Митрий Исаич, вот только оружие какое ни на есть прихвачу – и едем.

Спокойный вид и голос Прова подействовали не только на Суханова, но и на дворовых. Все знали, что Пров – старый воин, не раз рубившийся с врагами, выдержавший Троицкую осаду вместе с покойным Сухановым и побивший собственноручно десятки ляхов. И тот, кто трусил теперь идти на неведомых разбойников, видя бодрость Прова, вдруг успокоился.

Минут через пять все уселись в пошевни и выехали из усадьбы. На дворе осталась запряженная колымага – в ней некому было ехать, да и вряд ли бы она успела за пошевнями по глубокому снегу.

Несколько человек оставшихся дворовых поспешно ее отпрягали, чтобы вернуться поскорее в дом и, по наказу господина, наглухо в нем запершись, приготовить огнестрельное оружие и ждать возможного нападения.

Недалеко была усадьба Рафа Родионовича, всего верст пятнадцать; но пока Суханов спасал Настасью Филипповну и Фиму, пока вооружал дворню, пока то да се, прошло немало времени. Подъехав к деревне Всеволодского, он, по совету Прова, велел остановиться. Все стали прислушиваться. В деревне крики слышны; но там ли еще разбойники, узнать надо.

– Послать бы кого, – сказал Пров, – вот хоть бы Ваньку – он мигом сбегает, а то как зря-то мы въедем...

Но Суханов не дал ему договорить.

– Есть когда тут мешкать! – закричал он. – Трогай!

Пошевни помчались к деревне. Разбойников не видно. Никто не дрался, но в некоторых избах был зажжен огонь, слышались голоса, бабьи вопли, мужская брань и крики. Когда двое пошевней выехало на деревенскую улицу, все бывшие на ней кинулись в избы, полагая, что это опять наезжают разбойники. Суханов, с замирающим сердцем и вдруг охватившей его тоскою, завернул в усадьбу. Навстречу им какая-то фигура.

– Кто это, стой, держи! – почти бессознательно крикнул он.

Двое из его спутников, приостановив задние пошевни, выскочили, накинулись на этого неведомого человека и поймали его. Дмитрий

обернулся.

– Батюшка, Митрий Исаич! – расслышал он знакомый голос пойманного. – Это я, Федул, Федул Рафа Родивоныча! По тебя бегу!

– Что такое? что, что Раф Родионыч? Стой! – кричал Суханов.

Его пошевни остановились. Федул подбежал к ним.

– Страсти Господни! – испуганным, дрожащим голосом, размахивая руками, забормотал он. – Разбойники всех нас разогнали. Ох! убили Рафа Родивоныча, всех убили... по тебя бегу, защити, милостивец!...

Суханов боялся верить ушам своим.

– Убили! всех! – дико повторил он и помчался к усадьбе.

Ворота стояли настежь; во дворе и доме все тихо; двери выломаны; темень кромешная. Кое-как высекли огонь, зажгли лучину. В дом вошли: покои настужены, все вверх дном. Ни одной вещи на месте нет: дорогие иконы из киота вытащены, сундуки сломаны и выпростаны – полный грабеж и разорение.

Суханов бросился в опочивальню Рафа Родионовича и в первую минуту ничего сообразить не мог. Но вот в опочивальню внесли зажженную лучину. На полу, крепко скрученный толстыми веревками, Раф Родионович. И не убили его, слава Богу, жив он, только лицо страшное, искаженное болью и отчаянием.

– Развяжите, Христа ради, из сил выбился, ничего не могу поделать! – хрипло повторяет он, и дрожат его сухие, запекшиеся губы.

Радостный крик вырвался из груди Суханова. В одно мгновение кинжалом он разрезал верёвки и высвободил из них Всеволодского. Тот приподнялся было – да и опять сел на пол со стоном. Весь он избит в борьбе неравной; руки, ноги затекли – не действуют.

– Митюша! ты это, голубчик?! Спасибо тебе – выручил! А жена, дети?!...

И голос его оборвался. Он в ужасе ждал: а вдруг Суханов скажет, что жену и сына его убили, а дочь обесчестили – увезли...

Но Суханов говорит, что Настасья Филипповна и Фима у него, в безопасности...

– Слава тебе, Господи!

Руки старика приподнимаются для крестного знамения и опускаются бессильно.

– А Андрей? – спросил он.

В эту минуту Пров уже вводил Андрея в опочивальню, поддерживая его под руки.

Когда шайка Осины, ворвавшись к Рафу Родионовичу, повалила его и стала вязать, он ничего не видел, что делается вокруг него. Он не видел, как Андрей отчаянно боролся, как его осилили и поволокли в сени.

Управясь со стариком и его сыном, одна часть забравшихся в дом разбойников занялась грабежом, другая бросилась на женскую половину; но там не нашли никого, кроме связанного Осины. Женская прислуга сразу разбежалась и попряталась где кто мог. Холопы же, после схватки с разбойниками во дворе, тоже убежали, и один только из них, избитый почти до смерти, на крыльце остался...

В то время как развязывали Осину, дом был уже дочиста разграблен, и разбойники спешили убраться восвояси. Осина, грузно поднимавшийся на ноги, несколько минут не мог прийти в себя: платок, заткнутый ему в рот Сухановым, едва не задушил его. Вдруг кто-то из шайки крикнул:

– Ну, живей, удирать пора! – сундуки очищены.

– Где она, где? – заорал Осина.

– Ты кого же это?

– Где бабы Рафовы? Где дочка и этот Суханов проклятый, что связал меня? Неужто вы их выпустили?

Некоторые из шайки переглянулись между собою, другие хохотать стали.

– Так это бабы тебя связали? Ловко! связать такого кабана! И прыток же тот молодчик – видно, это он так оглушил нашего Степку в сенях. Ну, братцы, ждуть нечего, а то молодчик-то нагонит с собою народу... Отзвонили, да и с колокольни!...

Стали поспешно выбираться из дому, таща за собою награбленное.

Осина выбежал в сени, наткнулся на связанного Андрея и перескочил через него.

– Старик-то где? Старика мне подайте! – кричал он своим.

Кто-то из разбойников ответил ему:

– А глянь-ка там, в опочивальне, дрался он шибко, скрутили мы его, да никак и... того... невзначай и прихлопнули.

Осина распахнул дверь опочивальни и в темноте наткнулся на грузное тело Рафа Родионовича. Старик был в забытьи. Осина прислушался, толкнул его ногою.

«Все тихо, должно, и впрямь прикончили! – подумал он. – Эй, скверно: Фиму-то из рук вырвали, над Рафкой и надругаться не привелось как следует... и как еще эту кашу расхлебать придется. Ну да вывернусь!...»

Он еще раз толкнул ногою Рафа Родионовича, плюнул и пошел за своими...

Как ни сильно, как ни богатырски сложены были Раф Родионович и его Андрюша, но оба они находились в ужасном положении, оба были совершенно избиты. Их закутали в тулупы, снятые с сухановских дворовых, и уложили в пошевни. Дорогою они оба изредка стонали. Суханов молчал, озлобленно, почти бессмысленно глядел перед собою и ничего не видел. Все перед ним было как в тумане. Все, что случилось, казалось ему безобразным сном, и он ждал, что вот проснется и ничего этого не будет. «А вдруг и у меня разбойники в доме, вдруг Фиму уже украли!» – приходила ему страшная мысль, и он гнал что есть духу лошадей, и ему казалось, что они идут шагом.

Вот наконец и усадьба.

Слава Богу, все тихо, ничего подозрительного не слышно и не видно.

Прошло с неделю времени. Беда, разразившаяся над семьей Всеволодских, по счастью, не имела всех тех последствий, каких можно было ожидать. Никто не умер, и все стали видимо поправляться в своем здоровье. Раф Родионович мог уже ходить и даже владел одной рукою, другая же все не слушалась – видно, больно ее зашибли. Андрей тоже совсем поправился, только на лице была большая ссадина да плечо ломило. У Настасьи Филипповны от передрыги осталось всего-навсего какое-то странное кивание головою, так что каждому, кто глядел на нее, непременно казалось, что она его к себе призывает и вот-вот сейчас скажет что-нибудь особенно значительное. Одна только Фима как была, так и осталась: дня два поломало ей руки и ноги после непривычного напряжения мускулов во время борьбы с Осиной, да Пафнутьевна натерла ее святым маслом – и все как рукой сняло. Но все же грустно как-то было на душе у Фимы.

Всеволодские, конечно, остались у Суханова до своего полного выздоровления и до решения вопроса, что теперь делать им. Да и невозможно было думать теперь вернуться к себе домой, так как и дома почти не было, одни только стены да сломанные столы и лавки остались. Всего именишка, трудом немалым накопленного долгими годами, как не бывало. Все разорили, растащили разбойники: Правда, уцелело самое важное, уцелела кадушечка с серебряными деньгами, припрятанная Рафом Родионовичем на погребке, под половицей. В ней теперь было все спасение. Найди ее разбойники, что было бы делать?! Вотчина у Всеволодского маленькая, крестьян всякими поборами да разбоями совсем разорили, – с них возьмешь немного. А денежки в кадушечке копилась еще отцом Рафа Родионовича, да и сам он каждый год в нее что мог складывал. И сладко было ему думать, что хватит у него и Фиме на приданое, и Андрею про день черный. Как пришел в себя Раф Родионович, как отдохнул у Суханова, так и вспомнилось ему про кадушечку: «А что, если и ее отрыли разбойники?!»

Призвал он Суханова, рассказал ему все; тот немедленно же поехал в разоренный дом вместе со своим верным Провом. И не успел еще Раф Родионович досыта намучиться ожиданием, как в полной

сохранности была привезена заветная кадучка. Возблагодарил старик Создателя, но все же успокоиться ему не было никакой возможности. Вся душа его кипела гневом и обидой, приходили минуты даже полного отчаяния и ропота. Дом, хозяйство разорили, – с этим можно справиться; но нельзя справиться с людскою неправдою, с тем страхом, в котором жить приходится русскому человеку; а пуще всего нельзя справиться с неслыханной, позорной обидой, нанесенной зверем Осиной.

«Что это такое?! – думал Раф Родионович в бессонные ночи. – Что теперь делать? Хлоп негодный пришел с шайкою, разорил, избил, дочь чуть не опозорил, а сам жив остался и торжествует. Ведь его убить мало! Ну что же – встречусь, убью его – и меня же засудят. Жаловаться на него? Кому? Воеводе – ничего путного не выйдет, от всего отпрется приказчик, дело не впервой. А потом, выждав время, опять нападет, дочь украдет... Господи, да ведь этак жить невозможно!...»

Даже слезы муки и бессилия прошибали старика; все его сердце горело от кровной обиды. И наконец, после долгого думания и раздумывания, решил он, что если касимовский воевода сразу не возьмет его сторону и не велит схватить мошенника, он, Раф Родионович, на Москву поедет, обратится к князю Сонцеву, а то так до самого царя дойдет – и не успокоится, пока не смое с себя нанесенную обиду, пока холоп не примет должного наказания за свои злодейства.

Это решение Рафа Родионовича скоро стало всем известно, и все его одобрили; только Андрей клялся, что суд судом, а и без суда он найдет Осину и своими руками с ним расправится.

– Эх, Митюха, Митюха, – говорил он Суханову. – Не в обиду тебе будь сказано, а неладно ты это сделал, что оставил тогда проклятого в живых!

И Суханов теперь внутренне был согласен с приятелем. Чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что, пока Осина жив и на свободе, каждое мгновение нужно опасаться и за жизнь Рафа Родионовича, и за честь Фимы. Он успокаивал себя только тем, что теперь уже ни на шаг не отойдет от Фимы, что, пока жив, сумеет защитить ее.



Раф Родионович и Андрей быстро поправились. Дня через три-четыре положено было всем ехать в Касимов, где должно было начаться дело Всеволодского против Осины. Фима, наскучивши сидеть взаперти, попросила Суханова прокатить ее немного, чтобы подышать воздухом. Настасья Филипповна воспротивилась было этому.

– Ишь, что вы, что вы! – закричала она, замахав руками и тряся головою. – Это чтобы ее украли злодеи! да ни за что не выпущу... и думать не моги ты, Фима!...

– Да Бог же с тобою, Настасья Филипповна, – сказал Дмитрий; – Ведь я с ней поеду недалеко, тут только, по полю. Копчик мой – лошадь добрая, стрелою летит, никакие разбойники не догонят, да и не ночь теперь, а день ясный.

Раф Родионович тоже взял сторону дочери. Суханов заложил Копчика в самодельные маленькие сани и выехал вдвоем с Фимой. День был морозный и ясный: солнце искрилось на снегу, в воздухе тишь стояла. Крепкая лошадка быстро бежала, разбрасывая кругом себя комья снега. Фима, просидевшая несколько дней в душных хорах, жадно впивала в себя воздух, и в первую минуту даже голова у нее закружилась.

Долго ехали молодые люди не говоря ни слова, только Дмитрий не отрываясь глядел на Фиму. Тревога всех этих последних дней, неожиданные события поглощали все его мысли. Конечно, он постоянно думал о Фиме, но не думал о своей любви к ней. Теперь же, в первый раз после того вечера, когда она его поцеловала, он снова почувствовал, как страстно ее любит. Он глядел на нее и хотя видел одни только ее глаза, так как лицо все было закутано, но и по глазам этим, взглядывавшим на него нежно и ласково, чувствовал, всем сердцем чувствовал, что счастье близко, что все ужасные события последних дней не только не уничтожили этого счастья, а напротив, приблизили его. Только как она печальна.

– Ты все грустишь, Фима, – тихо сказал он, – развеселись; мало ли какое горе бывает, да оно проходит. Нечего гневить Бога, все авось уладится, Раф Родионыч с Андреем совсем поправились. Вот поедем в Касимов, злодея словим, а там и заживем все благополучно. А того, что разграбили, чего жалеть-то! дело наживное, все вернется.

– Я не горюю, Митя, – отвечала Фима. – А все у меня как-то странно на сердце. Да и сам понимаешь, страху-то, страху сколько!

Мне вот каждую ночь этот зверь снится... Ведь не будь тебя – что было бы теперь со мною! Митенька, голубчик ты мой, как мне и благодарить тебя, я не знаю!...

Она невольным движением прижалась к нему и положила ему на плечо свою голову. Сердце его забилося шибко, краска алая по лицу разлилась.

– Не за что благодарить тебе меня, – прошептал он обрывающимся голосом. – Не бежать же мне было, видя вас в опасности. Да и что бы со мною поделалось, кабы я не осилил проклятого да не связал бы его! Подумать страшно. Кабы захватил он тебя, так я, хоть и грех великий, – кажись, на себя руки наложил бы...

– Ах, что ты говоришь, полно! – перебила Фима.

Но он ее не слушал, он продолжал обрывавшимся голосом:

– Фима, и всей-то жизни моей, пока ты живешь да счастлива, а случись с тобою что-нибудь неладное, так и мне пропадать. Нельзя мне жить без тебя, уж так ты любя мне, уж так любя... да что... разве словами сказать это!...

– И ты мне всегда мил был, как брат родной, голубчик! – тихим, но твердым голосом проговорила Фима и еще сильнее к нему прижалась. – А уж теперь, теперь, Митя...

Ее голос оборвался, и вдруг она заплакала.

– Так ты меня любишь? Фима, голубка, ты хочешь быть моею женою?

Она отшатнулась, ее слезы высохли, и несколько мгновений она молчала.

– Женою?! – наконец шепнула она. – Да я твоей холопкой готова быть за то, что ты для меня сделал!

– Ах, оставь ты это, – отчаянно крикнул Дмитрий, – а то и впрямь меня не любишь. И если ты говоришь так, если ты согласна быть моею только потому, что я отнял тебя у злодеев, да и не я один отнимал-то, Настасья Филипповна с Пафнутьевной больше моего потрудились, – так мне тебя не надо – Бог с тобою!

– Что ты, Митенька, милый мой, что за речи нескладные?! – испуганно перебила его Фима. – Я люблю тебя пуще отца с матерью, я всю жизнь буду тебя лелеять и тебя слушаться, я...

Но она не договорила. Копчик летел как стрела, не сдерживаемый ничьей рукою. Дмитрий, обезумевший от счастья, охватил Фиму

обеими руками, будто боясь, что ее у него вырвут. У самого лица ее, перед ее глазами было его лицо, совсем новое, преображенное.

Она тихо вскрикнула и с неведомым ей доселе, сладким и как будто грустным чувством охватила его шею и, сдернув с лица своего фату, прижалась к его губам крепким и долгим поцелуем.

Касимовский воевода Никита Петрович Обручев был сущим наказанием для города и всей округности. Прежде он воеводствовал долгое время в Сибири и там еще приучился к самоуправству. Теперь, переведенный в Касимов, он нисколько не изменил своего образа действий и считал себя полным и единственным хозяином всего, что его окружало.

Некоторые из его благоприятелей, слыша про какую-нибудь чересчур уж значительную его проделку, не раз замечали ему, что он плохо кончит: «В Сибири на воеводстве хоть вниз головою ходи, хоть весь город перевешай, все с рук сойдет. Кто там разузнавать будет! Ну а Касимов не Сибирь, и Москва не за горами; дойдет до царя, донесут, так не вывернешься...»

Но воевода только ухмылялся на такие речи и продолжал жить в свое полное удовольствие. Несколько лет прошло, чудеса рассказывали про деяния воеводы, а беды с ним никакой не случилось, и он окончательно уверовал в свою силу и в свое право. Подвалы воеводские битком были набиты всяким добром и припасами. Денег у Обручева куры не клевали, и с каждым годом все прибывало его благосостояние, – легко оно доставалось.

Всякий торговый или промышленный человек, не только живший в городе, но и по делам в него заглядывавший, должен был идти к воеводе с большим приносом. В месяц раза по три, а то и по четыре, рассылал воевода своих подьячих к городским обывателям и требовал, чтобы они в такой-то день и час являлись к нему и несли дары свои. А кто не придет или принесет мало, того сейчас же схватят и в тюрьму посадят, а потом и выкуп с него потребуют. Не даст он выкупа, так в тюрьме просидит хоть до скончания века.

Люди воеводские ежедневно в гостиный двор забирались и брали там товары без платы. Наконец завел воевода близко от своего дома корчму и начал спаивать весь люд касимовский, грабя при этом каждого. Разврат в воеводском доме был такой, что о нем умолчать лучше.

И не один Никита Петрович страх нагонял на касимовцев, с ним в этом спорила и жена его. Вряд ли была в Касимове хоть одна женщина, которая бы из-за нее не убивалась, не плакала и ее не проклинала. Пойдет воеводиша в баню, а городские женщины должны идти ей челом бить, да не с пустыми руками. Лежит она на полке, парят ее вениками горячими, а горожанки одна за другою подходят к ней, низко кланяются и кажут ей свои приношения. Понравится приношение – отберут и отпустят подобру-поздорову; не понравится, так разденут несчастную женщину и заперют чуть не до полусмерти.

У такого – то воеводы приходилось искать суда и правды в своей обиде Рафу Родионовичу. Дня через два после объяснения Суханова с Фимой, о котором до сей поры никто не ведал, так как сватовство нужно было начать по исконным обрядам и обычаям, а это было невозможно, пока жених с невестой жили в одном доме, – перебрались Всеволодские вместе с Сухановым в Касимов и остановились у старого знакомого своего, соборного попа отца Николы.

Раф Родионович тотчас же отправился к воеводе. Он хорошо знал, что ничего путного для него не выйдет из предстоявшего объяснения; но ведь нужно же было дело начать порядком, да и авось хоть раз-то удастся пугнуть Обручева Москвою, ведь дело незаурядное.

Битых три часа заставил воевода ожидать себя в грязной заплеванной прихожей. Конечно, никаким делом он не был занят; но ему приятно было поломаться перед Всеволодским, которого он очень недолюбливал и называл не иначе как козлом, разумея, что от него, как от козла, ни шерсти, ни молока. Наконец, когда уже терпение Рафа Родионовича стало совсем истощаться, полупьяный подьячий объявил ему, что он может идти в хоромы к воеводе.

Обручев, в расстегнутом кафтане и стоптанных сафьянных сапогах, валялся на лавке, покрытой пуховиками и подушками. Со вчерашнего перепоя у него голова болела. Его старое, обрюзгшее лицо с маленькими подслеповатыми глазами и редкой седой бородою было теперь совсем багрового цвета и видимо припухло.

– С чем пожаловал? – презрительно проговорил он, даже не взглянув на вошедшего.

Раф Родионович остановился, и, вдруг вся его фигура преобразилась. Он выпрямился во весь рост свой, голова гордо назад откинулась.

– Да ты хоть бы по-человечески слово сказал, Никита Петрович, хоть бы на лавку меня посадил, как подобает. Я те не холоп и не подьячий, а дворянин столбовой, исконный.

– Хорош дворянин! – переваливаясь с боку на бок, усмехнулся Обручев. – Я твоего дворянства что-то до сих пор не видел, и нечего мне говорить тут с тобою... Садись на лавку, коли устал, да ответствуй: зачем пожаловал? Чай, ябеда? Только на ябеды все вы и горазды...

– Не ябеда, а жалоба, и великая жалоба, – упавшим голосом произнес Всеволодский, садясь на лавку. – И коли ты мне в моем деле не поможешь, так я...

– Да не расписывай, – перебил его воевода. – Что там у тебя такое?

– Ведомо ли тебе, что князя Сонцева приказчик, Яков Осина, набрав шайку разбойников, напал на мою усадьбу, вконец разграбил домишко мой и крестьян моих? Искалечил он меня и сына моего, дочь мою увезти собирался, и только по милости Божьей она спаслась, а мы живы остались. Ведомо ли тебе, говорю я, такая несносная обида, мне от холопа княжеского учиненная?!

Лицо Всеволодского было бледно, губы тряслись, язык едва поворачивался.

– Неведома! – сказал воевода и пристально взглянул на Рафа Родионовича. – Да и сдается мне, – продолжал он, – что ты это со злобы на Якова Осину поклеп возводишь.

– Что я... поклеп? – прошептал Всеволодский и замолчал. Говорить он больше не был в силах.

– Да, поклеп; я хорошо знаю Осину, человек он, каких лучше и не надо, не чета вам, касимовским дворянам; и на разбой не пойдет он. Да и какая невидаль? Много ли там у тебя пожитков?! так и есть – одни пустые ябеды!

Но Всеволодский уже сладил с собою. Он встал и, грозно остановившись перед воеводой, заговорил:

– Ну так я скажу тебе мое последнее слово... что я не поклеп возвожу, а что все то истинная правда – свидетелей у меня много. И ежели ты, аки воевода, не вступишься в дело мое и того душегубца Осину не захватишь и не накажешь примерным образом, да не мешкая долго, то я и до царя дорогу найду!...

Воевода поднялся с лавки и остановился перед Рафом Родионовичем, заложив руки за спину и злобно усмехаясь.

– Так это ты что же? Стращать меня вздумал... Али ты о двух головах?! Прежде бы размыслить следовало... Слушай, ты, дворянин столбовой, что я скажу тебе: Осину ради твоего удовольствиями в потакание твоей злобе и ябедам я не трону, а за речи твои дерзкие да нахальные да за ябедничество – на Москву отпишу, и не ты сам туда поедешь, а силком тебя потащут к допросу. А теперь иди подобру-поздорову... проваливай... мне с тобой говорить нечего.

Затряслись руки и ноги Рафа Родионовича, шагнул он вперед, и если бы не вспомнил про жену и детей своих, плохо бы пришлось воеводе.

– Пиши, пиши, воевода, – прошептал Раф Родионович, – только поглядим еще, что к царю раньше дорогу найдет – твоя ли неправда Иродова али правда моя... Больно уж зазнаешься ты, смотри, на мне оступишься!...

Что– то страшное, что-то необычайно могучее послышалось воеводе в словах старика Всеволодского. Жутко вдруг стало ему от взгляда этого оскорбленного человека, и он ни слова не сказал ему.

Раф Родионович большими шагами и ничего не видя перед собою вышел от воеводы. И, выходя, не заметил он, как у воеводского дома остановилась большая кибитка, запряженная усталыми конями, как из кибитки вылезли двое пожилых людей в богатых собольих шубах, не заметил, какое волнение в доме произвело их прибытие.

## XVII

Мрачный и страшный вернулся Раф Родионович в домик отца Николы. Настасья Филипповна как увидела его, так и руками всплеснула, – лица на нем не было. И замерла у нее на губах весть радостная, которою хотела она его встретить. Дело в том, что Суханов с Фимой, как ни крепились, не могли дольше выдержать и признались во всем Настасье Филипповне. Сватовство сватовством, все будет в свое время, как по обычаю следует, а к чему же молчать и таиться, когда от родителей отказа быть не может. То бессознательное чувство, которое заставляло молчать Дмитрия у себя в доме, теперь исчезло. Теперь все другое, они в Касимове, у отца Николы, и Дмитрий, наоборот, торопился закрепить свое счастье родительским согласием – тогда уж, конечно, никак не уйдет от него Фима.

Этой– то весточкой спешила порадовать Рафа Родионовича Настасья Филипповна. Она хорошо знала, что он давно уже ждет сватовства Дмитрия, давно рассчитывает на него для Фимы. Но как тут с ним говорить станешь, когда она его таким во всю жизнь не видывала.

Она все же попробовала говорить.

– А я давно уже тебя поджидаю, – начала она, – дельце есть такое, Родионыч...

Он дико взглянул на нее и крикнул:

– Молчи, отвяжись от меня и не трожь меня нынче!... Все отвяжитесь!...

Он ушел и заперся в каморке отца Николы. Настасья Филипповна, охая и трясая головою, стала шептаться с Сухановым и Фимой. Они ее успокаивали и порешили на том, что, видно, Раф Родионович не поладил с воеводой, а назавтра он сам им все расскажет, и сообща решат они, что им теперь делать. А вот придет от вечерни отец Никола, так он поговорит с Рафом Родионовичем и успокоит его.

Но вечерня отошла, а отец Никола не возвращается, попадья не знает, что и подумать. Андрея тоже нет, он с утра исчез куда-то. Но Суханов знал, где он, – конечно, в доме родственников новой своей знакомки Маши, которая так ему понравилась.



Проходят часы. Суханов ушел из дому к одному приятелю, которого прочил себе в сваты. Андрея все еще нету, а Раф Родионович запершись сидит. Вот и вечер. Настасья Филипповна прикорнула в уголке, да и задремала. Попадья к соседке пошла поболтать о том о сем да посудачить, куда это поп нынче девался. Фима сидит одна в темной горнице. Сидит тихо, не шелохнется, прислушивается к однообразному чиканью сверчка за печкой. Странно у нее на сердце. Ей кажется, будто много, много времени прошло с тех пор, как она в последний раз раздевалась и укладывалась в постель в родном доме. Ей кажется, что она тогда была совсем другая, что тогда была молода, а теперь вот совсем постарела.

Да, много, много прошло с тех пор времени, и все изменилось, а главное – изменился Митя. Прежде он был просто Митя, привычный человек, товарищ детства, а теперь он уже совсем другое, теперь он жених, будущий муж, будущий властелин ее...

Она его любит, она всю жизнь будет служить ему. Да, она его любит, он добрый, милый, лучше его не сыскать на всем свете. Он спас жизнь и ей, и ее матери, он благодетель всего ее семейства. Как же ей не любить его?! И особенно в эти последние дни, и особенно с той минуты, как он сказал ей, что ее любит! Да, она чувствует в себе новое, что-то тихое да хорошее такое, сладкое...

Так вот оно что значит – суженый! Вот она – любовь – какая бывает на свете! А она думала, что все же это что-то иное, что-то совсем волшебное... Или, пожалуй, не любит она как следует Митю? Нет, как можно! любит, любит его всем сердцем! Вот и теперь, его нет – ей скучно, ждет она его не дождется, слушает, не скрипнет ли дверь. Войдет он, она к нему навстречу бросится и прильнет к груди его – и тепло, и уютно, и спокойно ей на широкой и крепкой груди этой.

Вошла девушка служанка, лампадки у образов затеплила, для боярышни свечку зажгла восковую и вышла.

И опять все тихо, только в уголке всхрапывает крепко заснувшая Настасья Филипповна.

«Где же это Митя», – думается Фиме, и начинает она тревожиться.

В это время в сенях раздаются шаги, дверь растворяется. Но это не Митя, а отец Никола, и за ним еще кто-то.

Увидев незнакомого человека, Фима хотела было тотчас же закрыть себе лицо и выйти из комнаты, но отец Никола поспешно взял ее за руку и, обернувшись к следовавшему за ним человеку, сказал:

– А вот как раз и она, Рафа-то Родионыча дочка, – неведомый человек быстро окинул ее взглядом и поклонился. Фима вся переконфузилась, зарделась, отвернулась и, высвободив свою руку из руки отца Никола, быстро скрылась за дверью.

– Ну что, боярин, как тебе показалась девица моя хваленая? – сказал священник.

– Красавица, что и говорить! – отвечал гость. – Многих девиц я ноне навидался, а такой, признаться, повстречать еще не привелось; да вряд ли у нас и на Москве такие водятся. Спасибо тебе, отче...

– Чем богаты, тем и рады, – весело улыбаясь и кланяясь, проговорил священник. – Неисповедимы пути Господни – может, и нашей Фимочке выпадет счастье... Да где же отец-то, Раф Родионыч, – пойти поискать его.

Священник направился к своей каморке и, увидя, что она заперта, крикнул:

– Раф Родионыч, ты, что ли, тут? Отомкнись!

Задвижка щелкнула, Всеволодский впустил хозяина, а за священником прошел и незнакомец. И заперлись они втроем и долго о чем-то толковали.

Митя тем временем вернулся. Настасья Филипповна проснулась. Фима шепотом рассказала, что пришел какой-то человек неведомый и застал ее с лицом открытым, а отец Никола не дал ей и скрыться вовремя – совсем осрамил ее.

– Где же этот человек? – вдруг бледнея и упавшим голосом спросил Митя.

– Да он там, с батюшкой, долго что-то толкуют, – ответила Фима.

Дмитрий прислонился к стене, у него подкосились ноги.

«Неужто это он? Во все дома, сказывают, заглядывает!» – подумалось ему.

В эту минуту дверь каморки отворилась, и в горницу вошел неведомый гость в сопровождении священника и Всеволодского. Дмитрий так и впился в Рафа Родионовича, и еще более сжалось его сердце.

Старик уже не был сумрачен и грозен, как утром. Теперь вся его фигура выражала торжественность, лицо было радостное.

Гость молча отвесил поклон всем присутствующим, принял благословение от священника и вышел.

Все молчали, все ждали чего-то. Раф Родионович вернулся из сеней, куда он проводил гостя, и громким, сильным голосом вымолвил:

– Филипповна, подь-ка сюда! Митя, голубчик! Фима! Бог не без милости! Получит злодей Осина должное наказание, найду я себе защитников... На Москву едем, до царя дойду! Гость-то, что вышел, – боярин Пушкин, по наказу великого государя ездит... Государь наш батюшка жениться надумал – невест со всей земли русской сзывает. Вот и на Фиму указал отец Никола, да и боярину ты приглянулась, дочка... На Москву едем... слава те, Господи!...

Настасья Филипповна как разинула рот, так и осталась. Фима вся похолодела, застучало ее сердце, голова закружилась, едва на месте она устояла.

– Раф Родионыч, что же это такое? Бога побойся! – отчаянным голосом закричал Дмитрий.

– Что такое? Что это ты, Митя? – изумленно спросил Всеволодский.

– Да ведь мы с утра тебе сказать собираемся; ведь я завтра сватов к тебе прислать должен... Настасья Филипповна почитай что уж и благословила меня с Фимой, да и сам ты, Раф Родионыч, неужто скажешь теперь, что не хотел породниться со мною?! – задыхаясь от волнения, отчаянным, обрывающимся голосом говорил Дмитрий.

– Что же это, Раф Родионыч?! – продолжал он. – Я Фиму всей душой моей люблю, с детства люблю, так за что же ты ее будешь отымать у меня? Господи, что же это такое?!

Всеволодский сел на лавку, опустил голову и долго не мог сказать ни слова.

– Так вот оно что! Чего же ты раньше-то не сказал мне?

– Да ведь ты же, Родионыч, сам на весь день заперся. Разве к тебе можно было приступить? – вымолвила, приходя в себя, Настасья Филипповна.

– Ну, а теперь делать нечего! – продолжал старик. – Теперь уж я все порешил с боярином, через два-три дня выезжать надо. Как тут

быть? Никаким образом я не могу отказаться – невесть что про нас подумают... да и Фима опозорена будет. Правды-то никто не скажет, а наплетут сраму всякого... Нет, теперь нельзя, сам ты должен понимать это, Митя; только ты не бойся, голубчик: неужто весь свет так клином и сошелся на Фиме! Слышь ты – со всей земли девки на Москву собраны будут, так, чай, много краше Фимы сыщется...

– Не сыщется, не сыщется! – пробормотал Суханов, ломая руки.

Но Раф Родионович его не слушал. Он был погружен в свои мысли и высказывал их громко. Ему не приходило в голову, что Фима будет избрана государем. Того быть не может. Другое, совсем другое поглощало все чувства Рафа Родионовича. Эта поездка в Москву, эта возможность свидеться с людьми сильными и с самим царем сулила ему благое окончание его дела. А после утрешнего свидания с воеводой, после всего, чего он натерпелся, он мог думать только о своей обиде.

– На Москву, к царю! – твердил он. – Пиши, воевода, пиши, Ирод, недолго тебе кровь пить человечью!...

Дмитрий как безумный выбежал из горницы. Фима вскрикнула и скрылась за ним следом. Она догнала его в сенях, за рукав его схватила.

– Митя, куда ты, постой, Митя! – сквозь рыдания прошептала она.

Дмитрий остановился.

– Отняли! – простонал он.

Фима крепко обняла его и не выпускала.

– Успокойся, – говорила она, – ничего того не будет. Государь на меня и не взглянет. Ох, как страшно! Только ты не бойся, Митя, все это не так... это неправда... это не то!...

Она сама не знала, что говорит. Ее тоска давила – она не могла видеть мучений Дмитрия. Какой-то ужас ее охватывал...

Но что– то странное вдруг произошло с Сухановым. Его безумное отчаяние исчезло. Он прижал в темноте голову Фимы к груди своей и проговорил тихим, почти спокойным голосом:

– Сердце не обманет, чую беду великую... Люблю я тебя, Фима, пуще жизни – ты это знаешь; но я не стану тебе поперек дороги!

# **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

Приказом из Москвы велено было торопиться. Посланцы царские, Пушкин с князем Тенишевым, оповестив окрестных дворян, сделали смотр находившимся в наличности касимовским девицам и составили им список. Не обошлось при этом, конечно, без большого шума и всякой тревоги. Весь город волновался, каждая мать желала видеть свою дочь царскою невестой и все усилия употребляла для того, чтобы вывести ее на смотр бояр московских в самом лучшем виде. За целый год в Касимове не изводилось столько румян, белил и сурьмы, сколько извелось в последние три-четыре дня.

Но присланные царем бояре московские, несмотря на все хитрости матерей, очень умели отличать хороший товар от худого и немало забраковали невзрачных девушек. Матери их и отцы с досады и обиды просто содом подняли, так и налезали на бояр.

В доме воеводы, где происходил смотр, с утра до вечера стон стоял от бабьих криков и воплей.

Пушкин с Тенишевым потеряли наконец терпение и стали запирались в отведенных им воеводой горницах, никого к себе не допуская. Но волнение не прекращалось. Обиженные матери забракованных дочек не могли спокойно вынести нанесенного им оскорбления. Видя, что ничего не поделаешь, что московские бояре неумолимы, они стали накидываться на своих счастливых соперниц. И если бы Пушкину с Тенишевым заблагорассудилось поверить хоть сотой доле из того, что рассказывали в приемном покое воеводы, то пришлось бы им разорвать составленные списки и не пускать в Москву ни одной из выбранных уже и записанных девушек. Злоба женская хитра на выдумки – чего только не наболтали...

В одной из невест-красавиц, по клятвенным уверениям обиженных соседок, семь бесов сидело; другая по ночам петухом кричала; третья, от роду которой было всего пятнадцать лет, уже умудрилась родить тройню; четвертая сама по себе бы еще ничего, да мать у нее такая, что ей и показаться пред царские очи никак невозможно...

Но бояре московские были люди благоразумные, хорошо знавшие цену озлобленному языку человеческому, а наипаче бабьему. Коли красива да стройна была девушка – тотчас же и вносили ее в список, об остальном не заботясь. Есть ли у нее болезнь какая, али там другие провинности за нею водятся – все то узнают доподлинно дворцовые бабки да немчин дохтур...

Не удалось даже самому воеводе Обручеву поколебать Пушкина. Узнав о том, что дочь Всеволодского тоже включена в список, воевода начал наговаривать на Рафа Родионовича, убеждал Пушкина, что не только дочь его на Москву везти нечего, но что и самого-то старика Всеволодского следует в кандалы заковать за его дела непотребные.

Пушкин долго молчал, слушал себе речи Обручева и только искоса на него поглядывал. Фима Всеволодская поразила его своею красотой, и он особенно радовался, что доставит в Москву такую невесту. Кроме того, Раф Родионович в разговоре с ним у отца Николы откровенно поведал ему о своем горестном положении, рассказал все свои обиды.

Пушкин сразу убедился в правоте почтенного старика. К тому же он давно уже слышал о проделках касимовского воеводы, а грабежи да разбои и всякое своеволие различных приказчиков были тоже не новостью.

Конечно, в другие времена, при других обстоятельствах этот самый Пушкин не стал бы держать руку неизвестного и бедного касимовского дворянина, но ведь если Фима поразила его своей необычайной красотой, она точно так же может поразить ею и там, во дворце, самого царя молодого. В таком случае Всеволодский из бедного, обиженного человека превратится в силу. Пушкин, как опытный царедворец, сразу обдумал все это и решил, что старика заранее обласкать нужно, нужно сразу сделаться его благодетелем. А воеводы касимовского московскому боярину бояться нечего – и воевода хорошо это понимает и потому-то так низко кланяется царскому посланцу, не знает, чем угостить его, как задобрить.

– Что же ты, боярин, на мои речи ничего не отвечаешь? – говорит Обручев, перебрав все клеветы, какие только можно было возвести на Всеволодского.

– А что же мне отвечать тебе, воевода? – наконец прерывает молчание Пушкин. – Я не властен судить Всеволодского... Ты на него

жалуешься – он на твои обиды плачется! Ну вот, как приедем мы на Москву, я это ваше дело и доложу государю. Вот тебе и весь сказ мой.

И Пушкин лукаво усмехается, поглядывая на Обручева.

Воевода, позабыв свою тучность, как вьюн завертелся на месте от слов этих. Он почувствовал, что если Пушкин говорит с ним таким образом, значит, нужно держать ухо востро. Беда может прийти с той стороны, откуда и ждать-то ее было нельзя никоим образом.

Пушкин ушел заниматься своими делами, а воевода велел доверенному подьячему позвать к себе в укромный покойчик приказчика Осину, который еще со вчерашнего дня тайно находился у него в доме.

Осина вошел хмурый и красный больше прежнего, поклонился воеводе в пояс и молча стал перед ним, поглядывая на него исподлобья.

– Что же это ты, разбойник, сделал со мною, аспид ты этакой! – вдруг крикнул Обручев, с кулаками подступая к Осине.

Тот вздрогнул и попятился.

– Что такое, государь воевода? И невдомек мне, за что ты меня так?!

– Невдомек! а! невдомек, хамово отродье?... – продолжал воевода с пеною у рта.

Самые ужасные ругательства посыпались с языка его, и он долго не мог ничего выговорить, кроме этих ругательств. Осина молча слушал и ждал, что будет дальше.

Наконец воевода остановился. Он сообразил, что его крики и брань могут очень легко услышать московские приезжие, а главное, что не для одной только брани призвал он Осину.

– Ты тут разбойничаешь, – заговорил он более спокойным голосом, – а мне погибать из-за тебя!...

Но первое изумление и смущение Осины уже прошли. Он не боялся грозного воеводы – они были слишком тесно связаны общими интересами.

– Не тебе бы, Никита Петрович, разбоями укорять меня, – перебил он Обручева. – Посчитаем-ка, на чью долю с моих разбоев больше приходится – на мою али на твою... Кажись, до сей поры я был перед тобой в исправности, так нечего тебе на меня лаяться. А коли неладно



что вышло, так ты толком поведай – дело-то, может, и поправим вместе.

– Много ты тут поправишь! – закричал было опять Обручев, но тотчас же понизил голос. – Рафка-то, может, скоро в силе будет – вот тебе, выкуси!... Слышь ты, московским боярам его девка больно приглянулась, царю напоказ везут... Чуешь ли, чем это пахнет?!

Осина вздрогнул.

– А! вот оно что! – прорычал он, да так страшно, что теперь уже Обручев от него попятился.

– Дрянь дело, – проговорил он, наконец, обрывающимся голосом. – Попадет Фима в Москву, одним глазком ее царь увидит, так на других и смотреть не станет. Краше ее не сыщется девки во всем свете!

– Не видал я этой Фимки Всеволодского, – перебил его воевода. – А коли и впрямь такова она, то вот что скажу тебе: ежели Рафке да этакое привалит счастье, так ты пропал, как пес пропал, – это уж само собою: да из-за тебя, окаянного, ведь и мне пропадать придется! Ну и не хочу я этого! Долго я держал твою руку, покрывал тебя – будет! Выпутывайся сам как знаешь, а на меня не надейся... Провалиться тебе со всеми твоими приносами!...

– Что же, ты это меня, никак, выдавать надумал? – злобно усмехнувшись, проговорил Осина. – Выдать выдашь, а сам беды не минуешь... Рафку-то мы с тобой ведь не со вчерашнего дня знаем; подумай-ка, забудет он, что ли, твои все обиды?! Пиши-ка ты лучше грамотку князю Сонцеву, давнишний тебе он приятель. А я с той грамоткой на Москву поеду. Не ведаю еще, как оно будет, одно только ведаю: не дам я Рафке праздновать... такое придумаю! В руках он будет держать свое счастье, а я его у него из рук вырву. Или пропаду пропадом, или и тебе сослужу службу великую!...

Осина замолчал. Грудь его тяжело дышала, глаза мрачно блестели под сдвинувшимися бровями.

Воевода задумался. Он хорошо и давно знал Осину, знал, что на ловкость и хитрость его смело положиться можно, что он не задумается ни перед каким средством. К тому же в последних словах его слышалась такая злоба и такая решимость... Да и риску ведь не было никакого для воеводы. И правду молвил этот Осина проклятый – выдать его Всеволодскому, пожалуй, хуже будет, да и наверно хуже.

Приказчик неведь что наговорит на него, воеводу, совсем его запутает – солонее Рафа ему придется...

– Ну, коли так, ин ладно, – сказал Обручев. – Пожди там, грамоту князю изготовлю. Только смотри ты, Яков, помни: головою я мог тебя выдать врагу твоему лютому, да не выдал, помни ты это!...

– Ладно уж, я-то не забуду, – проговорил мрачно Осина и, простясь с воеводой, от него вышел.

К вечеру он уже выехал из Касимова. Злоба бушевала в нем. Ему представлялось прелестное лицо Фимы. Представлялись те вечера, когда он, бывало, сидел за трапезой в тихой усадьбе Всеволодских и когда милая девушка, еще почти совсем ребенок, врывалась в горницу с веселым, беззаботным смехом. Дикая страсть поднималась в Осине от этих воспоминаний, кровь бросалась в голову, сердце усиленно билось. Но вот ему припомнилось другое...

– Я хамово отродье! – шептал он. – Я холоп! Да, Раф Родионыч, видно, прав ты был, как взашей гнал меня из твоего домишка! Где же тебе было родниться с Осиной!... Ишь куда метишь... Ну да еще посмотрим... Раз по глупости моей ушел ты из рук моих, а уж коли другой раз уйдешь – так меня удавить мало будет, аки пса негодного... Нет, такое я теперь придумаю, что люди и не поверят, коли услышат...

## II

В домике отца Николы, где до сих пор все было тихо и чинно, где раздавался только вечно спокойный голос хозяина да воркотня его попадьи, теперь шла самая тревожная жизнь: немолчный говор и движение.

Назавтра Всеволодские должны были тронуться в путь и уже оканчивали последние приготовления. Впрочем, сборы были недолги, Настасья Филипповна не могла снарядить для дочки-красавицы богатых нарядов – и средств на это не было, да и нужных товаров где взять в такое короткое время. Единственная ее надежда была на сестру двоюродную, проживавшую в Москве и имевшую большой достаток. Не раз перетолковала Настасья Филипповна об этом деле с Пафнутьевной, и они успокоились на том, что богатая тетка, да еще вдобавок и крестная мать Фимы, не оставит в таких неожиданных и важных обстоятельствах невесту-красавицу.

Но хотя и не было особенной поклажи, хотя нечего было укладывать и устраивать, все же Настасья Филипповна и Пафнутьевна с раннего утра и до вечера суетились. И им обоим казалось, что они что-то делают, какое-то важное и необходимое дело.

Настасья Филипповна совсем даже преобразилась. В последние годы она стала несколько тяжела на подъем, любила целыми часами сидеть на месте за какой-нибудь работой. Раф Родионович частенько в минуты хорошего расположения духа подсмеивался над нею и добродушно называл ее «квашнею». А уж после их семейного несчастья и совсем она впала в апатию. Теперь же вдруг встрепенулась, не могла усидеть на месте. Будто сила какая-то невидимая двигала ее взад и вперед по маленьким покойчикам поповского домика.

И ей необходимо было это движение, эта суета, эти хлопоты о чем-то несуществующем, но как будто важном.

В этой лихорадочной деятельности она отвлекалась от своих мыслей, которые вдруг теперь нахлынули на нее. Да так нахлынули, что в голове у нее все окончательно спуталось, и никак не могла она разобраться. И чудно ей, и страшно, и тревожно. Все стали замечать,

что она даже руками иной раз водит вокруг трясущейся головы своей, будто отгоняя от себя наплывающие, непосильные ей мысли. А в работе-то, в беготне они и уходят.

Но вот вечер, спать пора. Все легли уж, и сама она раздевается и ложится – бегать-то и нельзя. И тут, как ни махай руками, мысли совсем одолевают. Ног под собой не слышит Настасья Филипповна от усталости, заснуть бы поскорее, да не спится: мысли, и опять мысли, конца нет им...

«Боже мой милостивый, – думается Настасье Филипповне, – Фима-то, Фима! Вот оно как вышло – на Москву едем. А там что-то Господь даст?... с чем вернемся, да и вернемся ли?... Ведь вон что боярин-то говорил!... Сказывает: краше Фимы не видал девки. Ну как она да приглянется царю-батюшке, ну как он ее выберет в царицы... Фиму-то мою, Фиму! Царица она – что же это такое?!...»

И Настасья Филипповна даже уж лежать не может, приподнимается и опять машет перед собой руками.

Но руки опускаются, приходят новые мысли.

«Как бы изо всего этого вместо добра и счастья великого горя опять не вышло?! Не лучше ли было бы вернуться в усадьбишку, устроиться там снова мало-помалу, выдать Фиму за Суханова и любоваться на их житье-бытье счастливое да тихое... И впрямь, так было бы не в пример лучше... Бедный Митя! Лица на нем совсем нету, уж так горюет, убивается. Да как и не убиваться! Знает он Фиму сызмальства, крепко любит, еще с покойным отцом его у нас это дело было загадано... обещана она ему, а тут вдруг такое! Как-то неладно оно, как будто и перед Митей на душе неспокойно, совестно...»

Только нет, ведь все это пустое, одна отсрочка. Съездят они в Москву да и вернуться, тогда и поженят Митю с Фимой.

«Ну что же, что Фима красива уродилась? На Москве не такие есть боярышни – да знатные, да богатые; с ними нам, бедным, не тягаться. Там Фиму, наверно, и до царских-то очей не допустят, ототрут ее сильные люди. Государь-то, говорят, не всех ведь девиц видит, какие съезжаются. Бояре немногих ему напоказ выставляют. Эх, одна только лишняя тревога да сумятица да траты лишние, и в такое-то тяжкое время. Да ведь уж ничего не поделаешь – Государев приказ, хоть с голоду потом помирай, а ехать нужно...»

И на этом совсем почти успокаивается Настасья Филипповна, так что даже дремать начинает. Только ненадолго: словно бес какой издевается над нею и ее поддразнивает. Опять закипает ее сердце, кровь стучит в голову.

«Да нет же, нет же! Во всем свете не сыщется краше Фимы! Увидит ее царь – и не захочет себе другую. Фима – царица... Боже милостивый! А Митя?! Бог с ним. Кто же тому виною? Видно, такова судьба его. Ну погорюет да утешится. Сыщет себе другую невесту, а мы ему пособим всячески, как в люди выйдем... Господи, Боже мой, счастье-то какое!»

Настасья Филипповна совсем запутывается. Сидит она на постели с широко раскрытыми глазами и улыбается. Мысли переходят в грезы, в картины, которые ярко-ярко среди темноты ночной носятся перед нею. И не замечает она, как громко говорит сама с собою, не замечает, что будит этим разговором Рафа Родионовича, сон которого теперь так чуток.

Раф Родионович тоже все раздумывает, тоже грезит, но иные его мысли и грезы. Он не верит, что счастье к ним привалило великое, он и не думает совсем о том, что царский выбор падет на дочь его. Это пустое, этого не будет. Мало, что ли, на Москве невест для государя – чай, давно уж приготовили, а что с городов-то собирают, так это отвод один...

Он радуется и волнуется, готовясь к поездке в Москву, потому что увидит там людей сильных, у которых искать будет правды. Он так или иначе дойдет до государя, он выскажет ему все, что давно в нем накопело и наружу просится. Он скажет царю великому и милостивому о том горе-злосчастье, о тех бедах лютых, что по Русской земле бродят и губят людей неповинных, жить не дают им, дышать мешают.

Не ведает про то горе, про те беды государь великий, а узнает про них – и ужаснется он, и обольется его сердце кровью за народ свой, и поможет он ему.

Вот о чем думается, о чем мечтается Рафу Родионовичу – и ждет он не дождется своего выезда из Касимова.

И не спится ему в долгие зимние ночи.

Да и кому теперь спится-то? – разве одной только Фиме. Она не тревожится, она не грезит. Она уже совсем успела успокоиться.

Поездка в Москву ее занимает как новость. А что царь ее смотреть будет, что царь ее выберет, что она будет царицей – это, как и отцу ее, не приходит ей в голову. Да и наконец, не тем и занята она, ей лишь бы успокоить Митю, который все тоскует. Он не отходит от нее, день целый молчалив, тяжело так вздыхает, так странно, так жалостливо на нее смотрит. Она призывает на помощь всю свою былую детскую веселость, заигрывает с ним, тербит его, добивается от него смеху. Вот наконец засмеялся он – и она спокойна.

Ее уверенность в том, что их разлука невозможна, что все это так и что скоро всего этого не будет, а заживут они по-прежнему, передается и ему мало-помалу. Пожатие ее руки, ее откровенная, милая улыбка, ее ласковые слова пробуждают в нем надежду.

Решено, что он едет с ними. Он уже был у себя в усадьбе; распорядился всем, что нужно, и в путь приготовился. Будь он один – тоска бы его заела. А тут Фима, а нет Фимы, так Андрей, с которым ведут они бесконечные разговоры.

Оба приятеля в одинаковом положении. Маша Барашева тоже внесена в список, и Андрей трепещет за свою участь.

И вот они толкуют и спорят, каждый боится, каждый доказывает, что выбор царя непременно выпадет на долю его милой, что царь не может плениться другою. Но в конце концов они друг друга успокаивают. Доказательства Дмитрия действуют на Андрея, доказательства Андрея действуют на Дмитрия.

Еще есть одно существо в домике отца Николы, которое живет тоже совсем новой и полной жизнью – это старая мамка Пафнутьевна. Она суется вместе с Настасьей Филипповной. Среди суеты она то и дело подбегает к Фиме, без нужды поправляет на ней убор, как-то совсем особенно блестящими и странными глазами глядит на нее, едва заметно улыбаясь, качает своей старой головою и при этом лукаво поджимает губы. А ночью тоже не спится старухе; но не от грез и мыслей, а просто от радости.

Она ни в чем не сомневается, ничто ее не тревожит, во всем она уверена, все она знает, все уже совершилось – счастье выпало, на долю ее ненаглядной Фимы. Фима будет царица, иначе и быть не может. И это нисколько не поражает Пафнутьевну. Недаром ведь она такую красавицу вынянчила. Как приедут они на Москву, обрядят Фиму, повезут к государю, а он, батюшка, выйдет в золотой одежде, аки

солнышко небесное, глянет направо, глянет налево – увидит Фиму, подойдет к ней, возьмет за ручку белую и скажет громким голосом таково слово: «Вот она, моя невеста, вот моя красавица!» А те, другие, все гриб съели!...

Пафнутьевна ворочается на своей холодной постели, не замечая ни холода, ни сырости, и хитро подмигивает сама себе в темноте ночной. Все сморщенное лицо ее складывается в улыбку торжества и радости.

Морозным зимним вечером по стихавшим улицам Китай-города мчались широкие сани, запряженные тройкой бойких коней. В санях сидела закутанная фигура, виднелись только широкий соболий воротник да высочайшая шапка. Кучер покрикивал, посвистывал, ловко огибая большие ухабы, и ради своего удовольствия хлестал длинным кнутом запоздавших пешеходов. Сани промчались по Варварке, миновали стену Китайгородскую и направились к Яузским воротам. Не доезжая ворот, они завернули в узенький переулок и остановились у одного из бесчисленных и однообразных деревянных домиков. Впрочем, домик этот был несколько пообширнее других и около него даже виднелись новые пристройки.

Закутанный человек вышел из саней и стал стучаться в наглухо запертые ворота. Оглушительный собачий лай поднялся по переулку.

Но долго еще никто не выходил встречать гостя. Наконец калитка заскрипела, со двора высунулась взъерошенная голова сторожа.

– Чего те, кто стучится?

Но на улице было довольно светло от полного лунного блеска – сторож вдруг замолчал и торопливо начал отпирать ворота. Сани въехали во двор. Гость стал всходить по ступенькам высокого крыльца. Теперь он откинул воротник шубы, и из-за меха выглянуло красивое лицо с густой черной бородой – лицо Бориса Ивановича Морозова.

Он целый день провел во дворце с царем молодым, а к вечеру отговорился головною болью и ушел в свои заново отделанные палаты, помещавшиеся в Кремле, почти у самого дворца.

Но не стал отдыхать Борис Иваныч, а, забыв про свою больную голову, велел заложить сани и покатыл к Яузским воротам, в домишко Ильи Даниловича Милославского.

Илья Данилович не большой боярин, не знатен он ни богатством, ни чинами. Тот же Морозов и вывел-то его в люди. Не раз еще перед покойным царем Михаилом Федоровичем за него говорил. Доставил ему небольшой чин придворный, довел его не только до крыльца Постельного, но в последнее время даже и до Передней. А Илья



Данилович за все это всячески старался быть полезным своему благодетелю.

Находясь при дворе, он не терял даром времени. Стараясь быть незамеченным, держась скромно и даже раболепно перед большими сановниками, льстя и услуживая каждому, он чутко слушал все, что делалось, и исправно доносил о слышанном и виденном благодетелю Борису Ивановичу.

У могучего боярина Морозова немало было врагов во дворце, немало людей ему завидовало, желало так или иначе насолить ему, желало хоть немного, тем или другим способом, ослабить его влияние. И эти люди часто удивлялись, как это Борис Иванович всех их насквозь видит, каждый их шаг враждебный своевременно и ловко упреждает. Они колдуном его называли промеж собою, а колдовство почти всегда исходило от Ильи Даниловича.

Ради колдовства этого в первые же дни воцарения Алексея Михайловича Милославский и в Передней очутился. А теперь еще явились и другие обстоятельства, много обещавшие впереди скромному и внимательному Милославскому...

Илья Данилович вышел в сени встречать своего высокого гостя.

Это был человек лет под пятьдесят, с поседевшими уже волосами и бородою, небольшого роста и тщедушный; правильное, красивое, но не совсем приятное лицо его выражало теперь необыкновенное почтение и радость. Низко кланяясь Морозову, он сам снял с него шубу и осторожно передал ее холопу.

– Милости просим, боярин, – продолжая кланяться, говорил он. – Вот сюда, в светелку, тут почище. Не взыщи уж – домишко у меня убогонький, достатки наши махонькие – сам ведаешь...

– Да ты не причитывай, Данилыч, – улыбаясь проговорил Морозов. – Не впервые ведь я у тебя... и на домишко клепать нечего – изрядные палаты себе устроил. Вот старые были неказисты, это точно, а эти ничего... совсем, кажись, в исправности.

Морозов, все продолжая улыбаться, оглядел покойчик, в который ввел его хозяин.

Это была маленькая комнатка, какие обыкновенно строили себе русские люди того времени, находя, что в тесноте – не в обиде, лишь бы тепло было да все необходимое под рукою, а главное, в избытке. Печка в углу изразцовая, узорчатая. Тот же мастер, что во дворце

ставил печи, и Милославскому за услугу какую-то изразцы эти по дешевой цене продал. Стены бревенчатые, на потолке резьба незатейливая, образа в углу в довольно богатых ризах. По стенам дубовые лавки, покрытые коврами хорошими.

И ковры эти Морозов знает: во дворце они были прежде, и уж Господь ведает, как миновали они царские кладовые и попали к Милославскому.

Печь жарко натоплена. В покойчике пахнет свежим деревом. Лампадка у образов мягкий полусвет разливает, а тут хозяин зажег и свечку в тяжелом медном шандале, так и совсем стало светло и уютно.

– С чем пожаловал, боярин? – сказал Илья Данилович, усадив Морозова под образами, на мягких подушках. – Приказать что изволишь? Так слово лишь молви, сам ведаешь: коли в силах моих будет – исполню. Я, боярин, о твоих благодеяниях не забываю...

– А я вот поговорить с тобой хотел, Данилыч, – отвечал Морозов. – Только слушай-ка, нет ли тут ушей лишних за дверями? Дело-то, вишь, не такое...

Милославский и рукой махнул.

– Говори, боярин, не сумлевайся, никто не подслушает, у меня на этот счет строго.

– Ладно, так, значит, и потолкуем, – медленно и как-то задумчиво проговорил Морозов, на стол опираясь. – Невесты все на Москву съехались, Данилыч, – начал он, – со всех концов съехались. Самые что ни на есть красивые девки, и счетом их около полутора ста; да более полусотни московских записано. И твои дочки на счету у нас: Марья Ильинишна да Анна Ильинишна.

Милославский привстал и поклонился; глаза его так и горели, так и бегали. Он жадно ловил слова боярина.

– Ну и вот что, Данилыч: царь торопит – жениться, вишь, ему больно захотелось. И пойдут у нас теперь дела несказанные. Все из-за своих дочек перегрызутся.

– Да чего же грызться, – перебил Милославский, – тут уж судьба да глаз царский, какую царь выберет.

– Не то, Данилыч, слушай: где же это государю из двухсот выбирать, времена уж не те. Вон царь Иван Васильевич, да и после него, точно из нескольких сот сами выбирали. Девочек-то на царский двор ровно стадо баранов гоняли. И чего только при этом не бывало!...

Ну... царь намедни и говорит нам с патриархом: «Выбирать мне из стольких не можно. Поглядите на них вы, бояре мои ближние, да и выберите несколько самых прекрасных, а уж на тех и я погляжу и скажу вам, какая мне больше по сердцу». Так вот какоко будет, Данилыч. Это нынче в обед-то сказал государь, и все те слова его слышали. Ну и каждый из наших-то со своею дочкой будет соваться – и погрызутся. Да и царю молодому, пожалуй, подсунут какого уroda, прости господи. Красоты-то немного в наших боярских дочках. Иных и сам видел, а про иных молва идет...

Милославский не мог усидеть на месте. Он приподнялся с лавки и так и ел глазами Морозова.

– Да и опять так надо сказать, – решился он вставить свое слово, – какой-то еще роденькой наградит Господь царя-батюшку?! Об этом ведь тоже нужно подумать.

– И об этом уже думано, – хитро улыбнулся Морозов. – Я надумал вот что: человек я прямой со своими, хитрить мне перед тобою нечего. У тебя две дочки-красавицы, сам ты человек хороший, друг мне истинный, а я для тебя не первый год что могу, то и делаю.

Милославский ничего не сказал на это, только руку приложил к сердцу. Он все понял, а сила боярина Морозова давне была ему ведома.

– Так-то, Данилыч, – совсем тихим голосом опять сказал Борис Иваныч. – Вот среди этих-то невест, что царь будет смотреть, должны быть и твои дочки. Это я уж устрою. Устрою также, что царь заранее будет знать про старшую твою, Марью Ильинишну, что краше ее нет на Москве красавицы. С помощью Божьей и будет она нашей царицей. А за младшей твоей, Анной Ильинишной, уж дозволю ты мне заслать сватов, не побрезгуй мной, вдовым да старым.

Милославский совсем растерялся. Мысль достигнуть величайшего счастья посредством дочерей-красавиц не раз приходила ему в голову с тех пор, как их внесли в список.

Но он не был ни богат, ни знатен, и, хотя умел обделывать свои делишки, но все же хорошо сознавал, что ему нечего затевать борьбу с именитыми боярами, к царю близкими, из которых каждый употребит все усилия, чтобы породниться с государем. А тут вдруг Морозов, сам Морозов берется за это дело и не для него берется, а для себя самого.

И счастье-то какое, что у Ильи Даниловича две дочки, а не одна! Одна была бы, не сидел бы у него Морозов. Экое счастье привалило!

Он наконец пришел в себя.

Он сделал шаг вперед и повалился прямо в ноги Борису Ивановичу.

– Благодетель ты мой! – заговорил он обрывавшимся голосом. – Был я тебе слуга верный, а уж теперь... ну да что уж тут... и слов-то нету...

Морозов весело улыбался.

– Да встань ты, Данилыч, поцелуемся. И дай-ка ты мне взглянуть на твоих дочек, ведь я их всего раза два мельком видел.

– Сейчас, сейчас, боярин, – повторял Милославский со слезами на глазах, троекратно лобызаясь с Борисом Ивановичем.

– Откушать бы чарку да закусить, время-то позднее, вот дочки и вынесут... повремени малость...

Он быстрыми шагами вышел из покойчика. А Морозов поднялся с лавки и стоял, статный да красивый, с веселым лицом и блестящими глазами.

«И сколько теперь голов умных думают да раздумывают, – мелькало в его мыслях, – ждут не дождутся моей гибели. Новую родню царскую, мне враждебную, измышляют. Да что же я за дурень буду – так и сложить руки! Они думали – я буду тянуть, отговаривать царя жениться, побоюсь новой родни царевой. Да неженатый-то царь мне страшнее. Больно разумен, из детских лет выходит, а следить за ним шаг за шагом, минута за минутой, тяжело становится мне. Нужно царя женатого, да на моей своячине. Нужно и царю, и мне такую родню, что меня бы одного слушалась, чтобы я был тут первым человеком. Илья вон в ногах валяется, а не породнись он со мною – того и жди за все мои благодеяния головою меня врагам выдаст. И уж захвалю же я Алеше Марью Ильинишну, во сне она ему каждую ночь будет сниться. Как выбирать придется, на других и не взглянет, за это уж ручаюсь...»

Веселые это были мысли. Борис Иваныч все стоял и улыбался, поджидая хозяина с дочерьми.

Вот дверь скрипнула, и на пороге показалась сперва одна женская фигура, потом другая, а за ними Илья Данилович.

Молодые девушки несли в руках подносы с винами и закусками. Остановясь перед Борисом Ивановичем и не смея поднять на него глаз,

они отвесили ему по плавному поклону и стояли не шевелясь, как статуи, только подносы едва заметно дрожали в руках их.

Борис Иванович оглядел их зорким взглядом, и на душе у него стало еще радостнее. Обе девушки были погодки. Младшей только шестнадцать лет исполнилось. Обе были красавицы – высокие да стройные, с нежными, милыми чертами, с белыми да румяными, горящими краскою юности и стыдливости лицами. Глаз опущенных не было видно, но длинные черные ресницы говорили о том, каковы глаза эти.

Трудно было сказать, которая из них лучше, но, впрочем, теперь первенство оставалось за старшей, за Марьей Ильинишной. Ее здоровая милая красота уже окончательно развилась и созрела, ее формы были пышнее.

Младшая еще смотрела полуребенком. Она еще только обещала в близком будущем сравняться с сестрою.

– Вот мои дочки, боярин, – проговорил Милославский, суетясь и как-то захлебываясь от радости. – Не взыщи на них: еще совсем никого не видали, да уж и ведены строго, из теремка ни шагу...

– Помилуй, Илья Данилович, – отвечал Морозов, почтительно кланяясь девушкам. – Я таких красавиц, почитай, отродясь не видывал. А что скромны они, так это и тебе, и им честь великая. Одно жалею, не хотят твои боярышни взглянуть на меня, не хотят, чтобы я полюбовался их очами...

Девушки еще больше вспыхнули. Марья Ильинишна так и не подняла на боярина глаз своих; но младшая не утерпела – взглянула. Перед Борисом Ивановичем на мгновение блеснули два больших черных глаза.

«Ты будешь женой моей», – решил про себя Морозов.

И ему вдруг сделалось так легко, так привольно на душе, как будто десяток – другой лет спал с плеч его. Как будто он снова превратился в того беззаботного, счастливого юношу, каким в первый раз увидел когда-то свою покойную жену, о ранней смерти которой теперь давно уж перестал сокрушаться.

## IV

С самого выезда из Касимова для Фимы началась новая и волшебная жизнь. Сразу она забыла все пережитое в последнее время. Она не помнила прошлого, не думала о будущем, для нее существовало только настоящее.

И это настоящее было так необычайно, так весело, так занимательно – путешествие, далекая дорога!

Фима ничего не видала, кроме своей усадьбы да Касимова, а тут что ни шаг, то разнообразие. Да и само-то путешествие как весело! Едут они не одни: несколько десятков кибиток потянулось из Касимова – все с выбранными невестами, их родными и прислугою. Впрочем, избранных невест немного. Пришлось-таки московским боярам под конец забраковать иных уже внесенных в список, оставив только самых красивых девушек из старых семей дворянских.

Большинство путешественников были уже давно знакомы между собою, а при первой же остановке так и остальные перезнакомились. Сначала все было мирно, дружелюбно; матушки пристально разглядывали чужих дочек и похваливали их. Но долго не могли они так выдержать, заклокотала зависть и на следующий же день все уже были между собою в ссоре, все ненавидели друг друга. Во время остановок шла бесконечная перепалка, доходившая иногда до такой крупной брани, что более благоразумные отцы и мужья должны были вмешиваться и успокаивать разъяренных женщин.

Только семья Всеволодских вела себя скромно. Настасья Филипповна и по характеру своему не была способна заводить ссоры, да и зависти в ней неоткуда было взяться.

Она видела и чувствовала, что ее Фима не в пример краше и лучше других девушек. Видели это, конечно, и все новые ее знакомки – и этого было достаточно, чтоб над бедною Фимой разразилась вся буря их злобы и зависти.

Под конец даже многие позабыли свои раздоры, помирились снова, чтобы заодно нападать на Всеволодских. Всячески стали пилить Настасью Филипповну, всячески поднимать ее на смех.

На все она отмалчивалась и оставалась невозмутимой. Разве уж очень надоедят, так промолвит кому-нибудь из своих с беззлой усмешкой:

– Ну чего они лаются? Только время попусту тратят. Ведь от лаю того Фима моя хуже не станет, а ихние дочки краше не сделаются.

И уйдет тихонько в свою кибитку.

Но несмотря на всю сдержанность и безответность Настасьи Филипповны, не унимаются злые женщины. Сидит она в кибитке и слышит:

– Хороша ты, трясушка старая, только и знаешь, что головой зря мотать! Ну чего ты дочкой своей кичишься, скажи лучше – рубашонка-то есть ли на ней? В чем ты ее на Москву привезешь? Время зимнее – замерзнет она совсем у тебя. Ты бы уж лучше нам поклонилась да Христа ради попросила старого платья с наших дочек.

Заслышав такие речи ехидные, не выдержит и Настасья Филипповна. Так больно и обидно на душе у нее делается, даже всплакнет она иной раз, только чтобы Фима не видела.

А тут еще Пафнутьевна начинает ее тревожить. Пафнутьевна страх боится, чтобы как-нибудь злые бабы не сглазили ее Фиму, не нагнали бы на нее с зависти какого лиха. Об этом она то и дело нашептывает Настасье Филипповне. На ночлегах с уголька спрыскивает Фиму, глаз с нее не спускает, следит за каждым ее шагом, а как идет она – замечает за нею снег своим подолом, чтобы лиходейки следа ее не вынули.

Фима смеется над своей старой мамкой, Фима не верит, чтобы кто-либо мог сглазить ее да испортить. Она же знает одно, что ей весело и радостно жадно глядеть по сторонам, всматриваться в новые предметы вокруг себя.

Проезжают они снежными равнинами, что как море пустынное раскинулись во все стороны и с небом зимним сливаются. Проезжают лесами густыми да страшными, деревнями и селами, городами. Города как Касимов – не хуже, не лучше его; те же улицы ухабистые, те же черные закоптелые строения, приставленные одно к другому.

«Боже ты мой, Господи, – думается Фиме, – едем, едем, и все-то новое, и люди новые, сколько их! Что звезд на небе...»

И начинает она раздумывать об этих незнаемых людях... вот прошла сейчас девушка – кто она, откуда? как живет? есть ли жених у

нее и так ли она его любит, как Фима Митю? Много всяких вопросов, и в молодом воображении мигом складываются ответы на все вопросы. Время проходит незаметно.

Короток день зимний – вот уж и солнце давно закатилось – темнеет. Большинство путешественников, закутавшись в шубы, дремлют.

Но Фиме не до сна. Она еще пуще, чем днем, начинает тужить в это время. Жуткое чувство подступает ей к сердцу; страшна эта темь, ее окружающая, страшна эта тишина снежная – а впереди лес еще страшнее.

Скоро они у его опушки; Фима глядит и видит: уж в самую кибитку заглядывают белые заледеневшие ветки. А там, за этими ветками, в таинственной непроглядной чаще, там, быть может, зверь лютый, люди недобрые...

И это не пустое, не сказка – это правда. Вот начинают храпеть и шарахаются кони; неподалеку в темноте лесной треск раздается. Там что-то будто идет, что-то ломает сучья...

– Что это, что это?! – кричит Фима и будит Настасью Филипповну, Пафнутьевну и Рафа Родионовича.

– Надо быть, ведмедь, – спокойным голосом говорит ямщик, оборачиваясь на своем облучке к седокам, и хлещет лошадей что есть силы.

Вот к их кибитке подъезжает другая, сухановская.

Митя и Андрюша тоже кричат: «Ведмедь!»

Лошади фыркают все больше и больше, сучья в лесу трещат ближе, ближе. В поезде смятение, все начинают кричать благим матом. Фима закрывает глаза, зажимает уши и ничего не видит, ничего не слышит. А все же, с зажмуренными глазами и с заткнутыми ушами, ей видится и слышится что-то необычайно страшное.

«Что это? Едем мы или стали? – думает она. – А что, если я открою глаза и у самого лица моего большая медвежья морда?!»

Она вздрагивает всем телом, ужас леденит ее. Но и самый этот ужас приятен.

Медведь, видно, сам напугался, ушел в лес обратно. Поезд мчится дальше, лес тянется без конца. Огромные деревья, неподвижные, в холодном ночном воздухе, начинают шевелиться, начинают будто переходить с места на место, сталкиваясь друг с другом белыми



оледеневшими вершинами. Будто валяются они, со всех сторон обступая дорогу и опять расступаясь.

Вот звенит что-то вдали. Как стрела летит этот звон и близко, словно в самой кибитке, теперь раздается.

Откуда он? Что он? Кто его знает...

Вот какие-то красные, огненные точки светятся в чаще. Глаз ли волчий или огонечки? А там, там между двух огромных мохнатых сосен, куда внезапной полосой прибился свет луны, – там что же такое? Кто это оттуда смотрит? Кто-то громадный с крючковатым носом, с нависшими надо лбом рогами. Это он, лесовик, о котором такое страшное рассказывала, бывало, Пафнутьевна в длинные зимние вечера у горячей печки.

Ох, страшно, ох, сладко!...

Но и лес, и качающиеся деревья, и лесовик – все исчезает. Вспоминается Фиме многое – позабытое, далекое. Дни детства, минуты... обрывки пережитого, перегоняя друг друга, мелькают теперь перед нею так ярко, ярко...

А то – голубое небо, желтая высокая рожь с налившимися спелыми колосьями. Васильки... пахнет душистым зноем. Кузнечики немолчно стрекочут. А там, за полем, речка тихо струится, вода в ней свежая да прозрачная – все песчаное дно видно, малых рыб вереницы, длинноногий паук чуть трогает воду. Комар жужжит у самого уха... Нога осторожно, боязливо скользит с берега... Ух!... Вода прохладная разом охватывает разгоряченное тело и расступается во все стороны, только брызги летят и трепещут на солнце всеми цветами... Глубоко дышит грудь... Чудная прохлада заменяет зной невыносимый... А вверху голубое небо. Солнце прямо в глаза светит...

И опять ничего этого нету... Тихая знакомая горенка, натопленная печка... Сладкая дремота... Однообразный голос Пафнутьевны... Все тише и тише... И совсем засыпает Фима.

Суханову и Андрею Всеволодскому эта дорога казалась невыносимой и бесконечной. Те, кого они хотели постоянно видеть, с кем хотелось им говорить, – те были от них близко и в то же время далеко. На глазах у зорких и злоязычных кумушек молодым людям нечего было и думать о прежней свободе, и они хорошо это понимали.

Андрей не смел даже и подходить к своей Маше Барашевой – он только издали глядел на ее закутанную фигуру. Дмитрий хотел было раз на постоялом дворе заговорить с Фимой, но Настасья Филипповна и Пафнутьевна так его отделали, что он тотчас же ушел в свою кибитку, даже ничего не поевши. Теперь, без ободряющего влияния Фимы, он снова предался своим грустным мыслям.

И если бы знал он, как у Фимы хорошо на душе, как ее радует эта поездка, как ее все занимает, то, пожалуй, совсем пришел бы в отчаяние.

Но настал конец и этому пути. В Москву въехали. Всеволодские отправились прямо к двоюродной сестре Настасьи Филипповны, жившей у Арбатских ворот, а Суханов с Провом принялись искать себе помещение. Пров не раз бывал в Москве еще с отцом Дмитрия, и у него было здесь даже довольно знакомых.

Один из этих знакомых держал тут же, неподалеку от Арбатских ворот, что-то вроде заезжего двора, отдавая внаем жильё с харчами. К нему-то Пров и повел Суханова.

Мрачный и угрюмый шел Дмитрий за своим путеводителем. Все окружающее казалось ему таким печальным и противным. Когда-то он думал о Москве, хотелось ему попасть в нее. Он представлял ее себе самым удивительным, чудесным городом. А это что же такое? – грязные, узкие улицы, почерневшие деревянные дома со слюдяными окнами, народу тьма-тьмуца – и все-то толкаются, бранятся, дерутся! Пьяных, что на торгу в Сытове, – не оберешься... Одно только украшает эту однообразную, неприглядную картину – церкви. Чуть ли не на каждом шагу золоченые их маковки так и горят на зимнем солнце. Но даже и церкви эти хороши только сверху, только и красуются они что маковками золочеными, а снизу и церкви

загрязнены и закопчены, и на них плещет мутная волна неугомонной, грубой жизни.

Слышит Дмитрий – к вечерне заблаговестили где-то далеко, и звон колокольный подхватывается со всех сторон и гудит в перезвонах отовсюду. Но эти торжественные, призывающие к молитве звуки заглушаются тысячеголосым воем толпы.

Русские люди, заслышав благовест, снимают шапки, крестятся машинально, а потом сейчас же продолжают свою брань, свою драку. Многие уж совсем передрались, кого-то избили, волокут. Вмешались стрельцы, наблюдающие за порядком. Народ разбегается во все стороны, боясь попасть в такое дело, которое, очевидно, должно разбираться в разбойном приказе.

Мимо Суханова проходят несколько закутанных женских фигур со спущенными, бесконечно длинными рукавами шугаев и направляются в ближнюю церковь. Любопытные молодые глаза из-под фаты зорко поглядывают на красивого юношу, но он не обращает на них никакого внимания и идет дальше по следам Прова, боясь потерять его среди уличной давки.

Вот едет избушка диковинная на колесах, запряженная шестеркою изукрашенных коней. Из оконца ее выглядывает важное лицо и высочайшая меховая шапка. Народ почтительно дает дорогу избушке. Многие снимают шапки – видно, большой боярин!

А это что такое? Что за скоморох такой через улицу по рыхлому снегу словно цапля перебирается? Человек в невиданной широкополой шляпе с пером, в какой-то кургузой бархатной, отороченной мехом одежде, поверх которой на плечи накинута епанечка. На ногах сапоги высокие с раструбами и шпорами, при бедре не то меч, не то сабля.

– Митрий Исаич, глянь-ка! – шепчет Пров, указывая пальцем на странного человека. – Глянь-ка – то немец. Тьфу ты, пропасть! Господи, мерзость-то какая! Совсем куций, а рожа... ну как есть вот у нас в Касимове в соборе черт намалеван... Нос горбом, усы закорючкой, щеки голы, а под губою вместо бороды тоненькая мочалка какая-то мотается...

Суханов смотрят на немца, но даже и немец не кажется ему теперь занимательным.

– Куда это ты меня ведешь, Пров? Ходим, ходим, а все толку нету.

– А вот тут сейчас, только за угол свернуть в переулок, тут и будет домишко Петра Онуфриева.

– Да, может, твой Онуфриев давно уже и помер. Ведь ты когда в последний раз на Москве-то был? Лет десять тому.

– Уж и помер! – обиженно проворчал Пров. – Зачем же это живого человека хоронить... Он не больно еще стар, а какой рубака-то был бравый. Мы с ним вместе ляхов да воров разных колотили. Теперь таких людей с огнем ищи – не отыщешь... Так-то... а ты, вишь, «помер!» Зачем ему помирать... Жив, надо быть...

Завернули они в переулок. Пров оглянулся и вдруг радостно заговорил Суханову.

– Ну вот он и дом-от, только малую пристроечку Онуфриев сделал, разжился, видно, деньгою. Ты, Митрий Исаич, постой тут, обожди маленько, а я мигом к хозяину сбегаю и все узнаю. Коли есть у него место свободное, – а как не быть, – я тебя и кликну.

Своим предположением о том, что, может быть, Онуфриев и умер, Суханов сильно смутил Прова.

«А что, коли и впрямь помер, введу это я Митрия Исаича, а над нами в доме-то только надсмеются».

– Да уж ты обожди лучше, батюшка, – повторил он, – я мигом!

Не дожидаясь ответа своего господина, он полез в маленькую калитку. На дворе ни души, только собаки залаяли.

Пров подошел к крыльцу, попробовал дверь – отперта. Он вошел в темные сени и наткнулся на какого-то выходившего из дому человека. Что это был за человек – в полутьме он не разглядел.

– Батюшка, здешний, что ли, будешь? – с сердечным замиранием спросил Пров.

– Тебе чего? – раздался над его ухом грубый и как будто где-то прежде слышанный им голос.

– Да хозяин, Петр Онуфриев, в избе, что ли?

– В избе, постучись – так отворит, – отвечал тот же грубый и знакомый голос.

И неизвестный человек поспешно вышел из сеней на крыльцо.

Пров стал стучать кольцом в двери, ведущие внутрь дома.

Скоро на стук вышел хозяин, и Пров наконец вздохнул свободнее.

Петр Онуфриев оказался жив и здоров, только поседел немного да сморщился.

Узнав старого товарища, он радостно расцеловался с Провом. Тут же, по-приятельски, выбранился с ним крепким словцом и повел его в домик.

– Какими судьбами, старина? – говорил хозяин. – А я так и полагал, что косточки твои давно прахом рассыпались.

Пров поспешно рассказал, в чем дело, и спросил, есть ли у него помещение для молодого господина.

– Как не быть – есть. А и не было бы, так для сынка покойного Исая Митрича всех постояльцев взащей выгнал бы. Очень ведь помню я милости к нам покойника, царствие ему небесное!... Да вот пойдём, я тебе покажу покойчик – тут ему удобно будет. Ну и всего постояльцев-то у меня ноне – один. Три дня как приехал, откуда, не упомяну. Человек смирный, немолодой уж и, кажись, с деньгою. Шуму досель никакого не заводил, да дома-то редко бывает. Может, ты его и повстречал – он только что вышел.

Но не успел Пров ему ответить, как невдалеке от дома послышался крик.

– Что такое? – начал прислушиваться хозяин. – Драка, что ли, а то уж не пожар ли?! Ахти, как бы беды не нажить... Тут у нас пожары-то не в редкость, а загорится где, так глазом не успеешь моргнуть – вся улица и займется. Побежим, Пров, посмотрим, что такое!...

Хозяин поспешно взял в углу с лавки кафтан, натянул его на себя, и через минуту старики были на дворе.

Дыму и огня нигде не было видно, а перед домом Онуфриева собралась густая толпа народа, и крики не умолкали. Пров озирался во все стороны, ища Суханова, но нигде его не заметил. Он протолкался вперед между столпившимся и неведомо на что глядевшим народом, да так и всплеснул руками.

Посреди улицы на снегу лежал плотный человек, на которого навалился другой. Лежавший отбивался руками и ногами и кричал благим матом. Удары противника так на него и сыпались.

– Ахти, никак, это мой Митрий Исаич! – крикнул Пров. – Кого же он так лупит? Что за притча такая?

Он пригляделся, все протискиваясь вперед, и узнал в лежавшем человеке Осину.

– Да ведь то мой постоялец! – изумленно проговорил Петр Онуфриев.

В это время с другой стороны толпа раздалась, и к дравшимся подбежало несколько человек стрельцов.

– Ратуйте, добрые люди, ратуйте, люди государевы! – кричал Осина.

Стрельцы мигом бросились на Суханова, скрутили ему руки и оттащили от противника.

– Разбой, душегубство! – продолжал кричать Осина. – Шел я спокойно, наскочил на меня неведомый человек, вот раскровянил всего...

Но Осина вдруг замолчал и стал зорко оглядываться во все стороны. На лице его мелькнуло что-то неуловимое, как будто даже радость.

Два стрельца, державшие его за руку, бросили его и кинулись к Суханову. Тот в первую минуту, как его схватили, очевидно, не мог прийти в себя, но потом его охватило бешенство. Он начал всеми силами вырывать свои руки у стрельцов. Наконец вырвался и, очевидно себя не помня, схватил одного стрельца за горло. Тут-то к нему бросились и остальные.

– Среди бела дня разбойничать да еще царских слуг бить! Вязать его! тащи в губную избу! – кричали стрельцы.

Суханов продолжал отбиваться. Но борьба с несколькими сильными стрельцами была невозможна.

Ему через минуту скрутили руки за спину, связали и потащили.

– А того, другого-то, что же? и его тащите!

Но другого нигде не было. Осина, воспользовавшись смятением и тем, что всеобщее внимание было обращено на Суханова, выскользнул незаметно, из толпы и исчез.

Пров задыхался от отчаяния. Вопя сам не зная что, побежал он за стрельцами.

– Остановитесь, постойте, слуги царские! – кричал он им. – Это господин мой, дворянин касимовский, Суханов... отпустите его, он невзначай задел вас – разгорячился больно с тем разбойником, вором и душегубцем. Думал, чай, что его бьет, так вы того разбойника и хватайте... Он разбойник всем ведомый!...

Стрельцы, однако, его не слушали.

– Не мешайся, старина, – сказал ему один из них, – а то так ступай и ты за нами, в губную.

– Коли на то пошло, так берите и меня, – чуть не плача и все продолжая бежать, проговорил Пров.

Между тем Суханов уже очнулся. Он понял свое положение.

– Пров, – сказал он, – беги ты скорей к Рафу Родионычу да скажи ему все как было. Скажи ему, что вор и разбойник Осина на Москве... А уж со мною пусть будет что будет. Как я того стрельца схватил – сам не ведаю, а что на разбойника, на злодея нашего накинуся, то иначе не стерпел, как его встретил...

– Бегу, батюшка Митрий Исаич, бегу к Рафу Родивонычу! – сказал Пров. – А ты не унывай...

И старик, радуясь, что его не задерживают стрельцы, быстро, насколько это позволяли ему старые ноги и волнение, направился к Арбатским воротам.

Теперь он понимал, что чуть не погубил своего господина, напрашиваясь вместе с ним в губную избу.

Засудили бы их обоих, и никто бы даже не догадался, куда это запропал в Москве белокаменной касимовский дворянин Суханов.

## VI

Всеволодские только что успели оглядеться с дороги.

Двоюродная сестра Настасьи Филипповны, Матрена Ивановна Куприянова, в доме которой они остановились, была очень рада гостям своим, особенно когда узнала о причине их поездки в Москву.

Это была добродушная, толстая старуха, давно уже овдовевшая и жившая в одиночестве. Дом у старухи был – чаша полная. Покойный муж оставил ей хорошие достатки.

Куприянова подняла на ноги всю свою прислугу, отвела гостям лучшие покои в доме и, так как давно уже пообедала, приказала готовить обильный ужин. Важно переваливаясь с боку на бок, плавно и не спеша ходила она по своему дому, отдавала приказания тихим, как будто уставшим голосом и затем возвращалась к гостям.

– Ну, мать моя Настасья Филипповна, – говорила она, грузно опускаясь на лавку, – одолжила, родная; не чаяла я такой радости. А уж доченька твоя, доченька!... Вот ведь тебя Господь порадовал какой красавицей!... Пойди ко мне, Фимочка, дай-ка еще разочек погляжу на тебя...

Фима подходила, опуская глаза. Матрена Ивановна брала ее за руки своими пухлыми, заплывшими жиром руками и начинала ее оглядывать.

– Краса-авица!! – тянула она, – истинно царская невеста. Смолоду и мы с тобой, Настасьюшка, были не уродами, а уж такой красы, признаться, в нас не было. Да где же это Раф Родионыч, куда это он девался?

А Раф Родионович вошел в это время в комнату. Испуг и волнение изображались на лице его.

– Настасья, – сказал он упавшим голосом, – слышь, дело какое: прибежал Пров сухановский. Митя-то в беду попал.

– Господи, что же такое? – вскрикнули в один голос Настасья Филипповна и Фима.

Раф Родионович рассказал им, в чем дело. Фима не могла удержаться от слез и поскорее вышла из покоя, чтобы скрыть свое волнение от тетки.



Настасья Филипповна, трясая, по обычаю, головою и испуганно глядя на мужа, шептала:

– Что же теперь будет, Родионыч, с Митей? Чем пособить-то горю? Нельзя же малого в беде оставить, из-за нас ведь на нашего врага накинуся...

– Вестимо, нельзя оставить, – медленно и задумчиво проговорил Всеволодский. – Да постой, дай сообразить, что тут делать. Вон Андрей, как услышал от Прова, так тотчас же в эту избу губную бежать задумал к Мите, только я приказал ему обождать. Помочь-то не поможет, а сам того и жди попадетя. Думаю так: пойду я немедля к боярину Пушкину, все ему поведаю, упрошу довести это дело до царя. Авось он поможет – на него одного надежда.

– Это ты хорошо придумал, Раф Родионыч, – неизменно тихим и медленным голосом проговорила Куприянова. – Коли сильный какой человек не вступится в такое дело, так этот ваш Митя (не знаю, кто такой) дешево не отделается. У нас на Москве порядки строгие, да и подьячие – народ нонче ух какой озорной стал: попался человек в беду, они с него семь шкур сдерут. Так-то, родной мой, так-то!

Она не успела договорить, как на пороге показалась Фима, вся заплаканная, дрожащая, очевидно, забывшая всю свою сдержанность. За Фимою шла Пафнутьевна, старавшаяся удержать ее.

– Что с тобой, Фимочка, что, красавица? – протянула Куприянова, с изумлением поглядывая на девушку.

– Батюшка, – подбегая к отцу и захлебываясь слезами, заговорила Фима, – послушай; какие страсти Пафнутьевна мне насажала! Поспеш к царю, проси за Митрия Исаича, не то, может, к вечеру его и в живых-то не будет.

Голос ее оборвался, и она, рыдая, упала на грудь Рафа Родионовича.

– Ох! светики мои, уж и не рада, что обмолвилась. – прошамкала Пафнутьевна.

– Да что ты там наболтала, старая! – крикнул Всеволодский. – Как к вечеру жив не будет? Пустые это твои речи.

– Сама знаю, не след говорить было, – шептала старуха. – Только речи мои не пустые, государь ты мой, Раф Родионыч. Вестимо, пропал теперь Митрий Исаич, чай, уж давно пытаются его, сердечного, на дыбу поднимают, рвут его тело белое клещами железными раскаленными...

При последних словах старухи Фима пронзительно взвизгнула и зарыдала еще пуще прежнего.

Настасья Филипповна тоже громко плакала. А глядя на них, вдруг, и неожиданно для самой себя, взвыла толстая Куприянова.

Одна Пафнутьевна оставалась, по-видимому, спокойной. Она, кажется, совсем позабыла и горе своей Фимочки, и все обстоятельства, вошла совершенно в роль и наслаждалась впечатлением, которое производили ее причитания.

– А палачи-то, мужики рыжие, краснобородые; – почти пела она каким-то особенным тоном. – А в руках-то у них топорики острые, а руки-то у них в алой крови человеческой, а и сидит там судия неправедный и как возговорит зычным голосом: «Ведите вы, палачи, раба Божия Митрия на казнь лютую, скрутите вы веревочку крепкую...»

– Да замолчишь ли ты, глупая баба! – воскликнул, наконец приходя в себя, Раф Родионович. – Жена, чего ты смотришь, совсем набаловали мы с тобой старуху. Что о нас Матрена Ивановна подумает?!

Но Матрена Ивановна ничего не думала. Она стояла перед Пафнутьевной, пристально следя за каждым страшным словом, вырывавшимся из ее старого, беззубого рта, и с наслаждением подвывала в такт ее причитаниям.

– Батюшка, к тебе посланец от боярина Пушкина, – вбегая, крикнул встревоженный Андрей.

Раф Родионович поспешно вышел и через минуту вернулся совсем успокоенный.

– Ну вот и слава Богу, перестаньте выть-то. Боярин прислал оповестить меня, чтобы завтра пораньше утром был я у него – идет, вишь, он со мною во дворец. Сам-де царь великий желает меня видеть... Так, Господь даст, Митино дело и удастся поправить. А что дура эта старая надумала, тому вы не верьте. Ничего с Митей не сделают, зря пытаться не станут, не те времена ныне.

Однако успокоить женщин было трудно. Пафнутьевна совершенно достигла своей цели. Весь вечер прошел в слезах, самых мрачных предположениях и страшных рассказах. Пафнутьевна вспомнила все ужасы, каких наслышалась еще в молодости, передавала истории времен царя Ивана и уверяла, что все это недавно

было и что все это она от самых верных людей слышала. Матрена Ивановна тоже в долгу не осталась и, возбужденная примером Пафнутьевны, к которой почувствовала большое влечение, отрыла из своей памяти такие страсти, что сама наконец перепугалась больше слушательниц.

Вот и вечер. Все разбрелись по кроватям. Наболтавшаяся и еще с утра уставшая Пафнутьевна спит крепким сном. Настасья Филипповна тоже заснула.

Фиме не до сна. Она жарко молится за бедного Митю и горько плачет.

– Что-то с ним теперь, голубчиком? Отец говорит, что нужно успокоиться, что пытаться-де его не станут – Господь ведает. А ночь-то долгая-долгая, а завтрашний день что скажет? Вот, так радовалась этой поездке в Москву, всему радовалась. А горе уж началось. Сердце бьется так тоскливо, видно, дурное предвещает. Ох! что-то будет? И зачем все это? Жить бы в тишине да покое, в прежнем счастье...

Страшно, страшно становится Фиме, и льются ее слезы, и горячо, то с отчаянием, то с надеждой, она молится. Не слышит она, как среди тишины ночной в доме вдруг какая-то возня начинается.

То Матрена Ивановна кличет к себе своих сенных девушек. Таких она ужасов наговорила и наслушалась, что теперь никак уснуть не может, чудится ей все что-то.

Затешила она несколько лампадок перед образами, велит девушкам сидеть вокруг ее кровати и тихонько чесать ей пятки и спину, авось это тихое щекотание сон нагонит...

## VII

Молодой царь очень жаловал Пушкина, как разумного и приятного собеседника, умевшего вовремя и посмеяться, вовремя подать и совет добрый. К тому же Пушкин был весьма ловкий царедворец. Он, как и большинство бояр именитых, всей душой ненавидел Морозова, но, зная его силу и непоколебимую любовь к нему царя, всеми мерами старался с ним ладить, успевая убеждать его в своем расположении. И в конце концов достигал этим многого. Морозов ни одним словом не вооружал против него царя, не становился до сих пор ему поперек дороги.

Алексей Михайлович, узнав о возвращении Пушкина в Москву, тотчас пожелал его видеть и в неурочное время принял его в комнате.

Морозова не было, чем Пушкин был очень доволен. Он передал смущенному государю все более занимательные подробности своего путешествия. Восхвалял красоту девушек, собравшихся в Москву, но пуще всех расхваливал касимовскую дворянку Ефимью Всеволодскую.

– Не знатна она, государь, не богата, да зато уж и красоты невиданной, и нрава кроткого. Дочь благочестивых родителей, воспитали ее в страхе Божьем, – говорил он.

Рассказал он и о Рафе Родионовиче, и о вынесенных им обидах.

– Господи! Неужто это правда, что столь великие несправедливости на Руси чинятся?! А я про то ничего не ведаю! – печальным и смущенным голосом проговорил молодой царь. – Завтра же приведи ко мне этого почтенного человека, я желаю его видеть. Да скажи ему от моего имени, чтобы он говорил со мною не смущаясь. И родитель мой всегда любил правду слушать, и я, видит Бог, только и желаю одной правды... Не забудь же, завтра пораньше будь у меня со Всеволодским.

Пушкин откланялся и на следующий день рано утром вез Рафа Родионовича во дворец кремлевский.

По обычаю, оставив свои сани далеко от жилища царского, Пушкин проводил Рафа Родионовича на Постельное крыльцо и сказал ему:

– Пожди здесь немного, я пойду доложу государю.

Старик Всеволодский будто прирос к месту, стоял неподвижно, с изумлением и робостью осматриваясь. Постельное крыльцо в этот день было битком набито народом. Все люди важные – один вид чего стоит! Кафтаны и шубы богатые, шапки меховые высокие, поступь гордая. И глядят все на Рафа Родионовича с презрением, как бы спрашивая:

– Как этот сюда забрался? Что за птица ощипанная?

И Раф Родионович действительно чувствовал себя ощипанной птицей. Стыдно ему за одежку плохонькую, и не знает, куда ему руки девать. Не знает, кому кланяться тут. Кончил он тем, что стал раскланиваться на все четыре стороны. А поклонов его или совсем не замечали, или отвечали на них едва заметным кивком. Один только какой-то пожилой человек, из неважных, да, видно, очень любопытных, подошел к нему и стал расспрашивать.

Раф Родионович, низко кланясь своему собеседнику, на каждый вопрос отвечал подробно, с полнейшим добродушием.

Только вдруг на Постельном крыльце произошло волнение. Все засуетились. Горделивые фигуры мгновенно как-то съежились, высокие шапки стали низко кланяться. Мимо Всеволодского, по тому же направлению, куда исчез и Пушкин, прошел, ни на кого не глядя и слегка отвечая на поклоны, красивый чернобородый боярин. Вслед за ним поднялся по всему крыльцу Постельному шепот, среди которого Всеволодский расслышал только одно слово: «Морозов!»

Раф Родионович даже в глуши своей касимовской уже много наслышался об этом важном боярине, первом советнике государевом, и теперь почувствовал необыкновенное, досель им еще не испытанное смущение.

Долго, днем и ночью, мечтал он о возможности пробраться во дворец царский, увидеть лицом к лицу государя, его ближних и разумных советников и раскрыть перед ними свою душу. Нежданно-негаданно мечта эта осуществилась... так что же это страх берет, ноги трясутся, язык немеет?!

«Вот ведь какие тут люди, то не воевода касимовский. Как к ним приступить... Да и царь... издали-то мы смелы... Господи, что-то будет?! Ну, как я только совсем погублю и себя, и семью свою...»

Но рассуждать было некогда. Пушкин вернулся и, подойдя к Всеволодскому, сказал ему:

– Иди за мною.

Раф Родионович пошел, спотыкаясь на каждом шагу, боясь задеть кого-нибудь и со страха задевая чуть не всякого встречного. В глазах у него мутилось. Он не видел, не замечал окружающего, не знал, как он идет и по чему идет – пол ли под ним или что-то зыбкое, что вот-вот сейчас раздвинется, ускользнет из-под ног и умчит его в пропасть бездонную.

– Смелее, Раф Родионыч! Государь великий на тебя смотрит, – шепнул Пушкин.

Раф Родионович очнулся. Взглянул перед собою и увидел прекрасное молодое лицо, озаренное добродушной, почти детской улыбкой. Страх и смущение вдруг пропали. Новое умильное чувство поднялось к сердцу и, едва удерживая слезы; старик упал на колени перед государем.

– Встань, почтенный человек, – проговорил Алексей Михайлович. – Я пожелал тебя видеть и прошу, поведай мне, ничего не скрывая, все свои обиды.

Но Всеволодский говорить не мог и долго был не в силах подняться, так что Пушкин должен был помочь ему.

«Что же это такое? – мелькнуло в его голове и сердце. – Молчу, онемел; теперь-то молчу, да разве это возможно?! Господь услышал молитву мою, а я молчу!...»

И он заговорил.

Он стоял перед царем, забыв о своем страхе и робости, о своем ненарядном платье. Глаза его горели прежним огнем. Благообразное и честное лицо сделалось величественным.

– Великий государь, – сказал он, – прости меня, коли слово молвлю я неразумное... Стар я, не обучен наукам. В глуши весь век прожил. Смолоду рубился с врагами, а теперь и на то стал негоден. Но все же поведаю тебе истину. Ищу у тебя, царь православный, суда во многих тяжких обидах. И устами моими будут тебе плакаться многие сотни и тысячи твоих верных подданных, несправедливо обижаемых без твоего ведома...

Его голос креп с каждым словом, он видел перед собою кроткие глаза молодого царя, устремленные на него с благосклонным выражением. Он говорил, как еще ни разу не случалось ему говорить в жизни, говорил обо всем темное и несправедливом, чему был

свидетелем, о возмутительных злоупотреблениях воеводы, дьяков и подьячих, о горе и нуждах народа православного. Говорил с такою страстью с таким красноречием, что молодой царь внимательно и в волнении его слушал, то вспыхивая, то бледнея.

Внимательно слушал его и другой человек, бывший рядом с царем, но которого до сих пор совсем и не заметил Всеволодский, – слушал боярин Морозов. Только трудно было разобрать на лице боярина его мысли.

– Борис Иваныч, слышал ли ты все это? Вот что на Руси творится, вот каких воевод мы ставим! – наконец вскричал Алексей Михайлович, когда Всеволодский остановился, едва переводя дыхание.

– И столько беззакония в одном городе, от одного человека! – продолжал он. – По другим местам, может, то же самое делается, а мы ничего не знаем. Как нам быть теперь? Из-за одного злодея льются потоки слезные! Целые семьи, сотни семей терпят муку... Нет, не будет пощады от меня этому воеводе! За все он мне ответит...

– Государь, – тихим голосом проговорил Морозов. – Тебя взволновали речи этого человека. Оно понятно; но ведь нужно действовать осмотрительно... не всякому слуху верь. Может, все это и правда, и в таком случае, конечно, виновному воеводе должно быть строгое наказание. Но может быть, что человек этот, своих обид ради да по вражде своей к тому воеводе многое и не так передал. Нужно и воеводе выслушать. Доносов-то у нас много, рады жаловаться, благо царь милостиво слушает...

Побледнел и вздрогнул Раф Родионович; гневно глянул он на могучего боярина.

– Во всю мою жизнь я ложью не осквернил языка моего, – проговорил он, – а перед лицом великого государя могу ли лукавить?!

– Да ведь я ни в чем и не виню тебя, – спокойно ответил Морозов, – я не чиню тебе никакой обиды. Ты дело свое сделал и коли правду сказал – так будь спокоен.

Алексей Михайлович сидел задумчиво. Он не слышал слов Морозова. Очнувшись, он взглянул на Рафа Родионовича и по-прежнему ласково и печально ему улыбнулся. Он видел волнение этого почтенного старика, видел его сердечную тоску, понял ее и инстинктивно постарался его бодрить и успокоить своей милой и детской улыбкой.

– Спасибо тебе, – сказал он ему. – Я тебе верю, будь спокоен. Мы разберем твоё дело и не дадим тебя в обиду. Когда нужно будет, я позову тебя. Приказчика этого, Осину, прикажу непременно словить, а сосед твой, Суханов, будет выпущен на свободу: о нём не тревожься... мне довольно, если ты за него ручаешься...

Благоговейно опустился Раф Родионович снова на колени перед царем и горячо поцеловал милостиво протянутую ему царскую руку. Он выходил теперь от государя спокойный и бодрый. Давнишняя тяжесть спала с его плеч – он сделал своё дело.

– Напрасно ты, не спросясь, о всяком неведомом человеке докладываешь, – шепнул Морозов Пушкину, – что он тебе, сродни, что ли? Расстроить да взволновать государя легко, а польза от того какая? Напрасно, совсем напрасно ты это сделал...

Пушкин не отвечал и не оправдывался: в присутствии государя, который вот-вот на них взглянет, то было невозможно. Да и чего тут было оправдываться. Пушкин только соображал все о возможности удачи или неудачи той смелой игры, которую затеял.



## VIII

То же самое, что происходило в Касимове по случаю выбора царских невест, то началось теперь в Москве, только в гораздо больших размерах. Все страсти расходились, интриги кипели. Двести девушек в сборе, из них нужно отобрать шесть самых красивых и представить их государю. Прежде всего возникает вопрос: кого из бояр царь назначит. Для такого дела, от кого будет зависеть признать такую-то девицу красивейшей или объявить ее негодной для царского выбора. Значит, нужно понравиться не государю, а судьям. Да и не понравиться: на красоту тут, наверно, будут обращать меньше всего внимания. Выберут своих же дочек, а не дочек, так родственниц, а то так дочерей своих благоприятелей. Дело не впервой, дело известное.

Кто же эти судьи?

На вопрос этот ответ был ясен.

Конечно, самые близкие к государю люди и прежде всех боярин Борис Иванович Морозов.

Морозов опять распорядится всем по-своему. От него только, от него одного будет зависеть выбор невест. Другие судьи замолчат перед ним, спорить не станут. Да он и не допустит рядом с собою спорщиков, он будет судить вместе со своими товарищами, единомышленниками.

И никогда еще не было такой ненависти к Морозову, как в эти дни ожидания, и никогда еще так не заискивали перед ним царедворцы.

Вот имена судей стали известны; избраны: Борис Иванович Морозов, брат его Глеб Иванович, боярин Романов, Пушкин и князь Прозоровский.

И повалили к судьям отцы и родственники невест выбираемых. Все клянутся в дружбе великой, высчитывают прежние услуги, в ногах валяются, просят не обидеть дочку или племянницу, сулят за услуги горы золотые. Некоторые так даже и заранее, тут же из кармана тащат посильное приношение. Бояре приношениями не брезгают, обещают сделать все, что только могут, но вместе с этим у каждого на языке: «Мы-то за вас будем – уж не сумлевайтесь, а вот Бориса Ивановича –

того хорошенько просите, как бы он вашего дела не испортил, а мы что, мы всей душой постараемся».

Уходят от бояр отцы и родственники с некоторой надеждой, только к Борису Морозову никто из них идти не осмеливается: его не упросишь, с ним не сторгуешься, лучше уж и не заикаться, а улуча минуту, до выбора невест, на Постельном крыльце или в Передней, да поклониться ему пониже.

Однако и не без бурных сцен обходится канун выборов; не все гости выходят от бояр-судей с миром и надеждою. Вот сидит у Пушкина окольный князь Троекуров и упрашивает его беспрерывно выбрать напоказ царю его дочку, княжну Ирину.

Пушкин давно уже не любит Троекурова, давно уж у него с ним нелады завелись. И он теперь, по своему характеру непокладистому и задорному, вовсе не желает обнадеживать князя, напротив, рад он случаю насолить Троекурову и подразнить его.

– Неладное ты дело выдумал, князь, – говорит Пушкин. – Ну как это я могу обещать тебе выбрать твою дочку? Первое: не я один выбирать буду; коли я и выберу, а другие-то скажут: она, мол, некрасива, у нее-де одно плечо ниже другого, да и с лица не совсем чиста – на носу рябинки – ну что тогда?!

При этих словах Троекуров забывает все. Он помнит только свою старую вражду и зависть к Пушкину, чувствует только обиду. И обида тем сильнее, что у дочери действительно одно плечо ниже другого и на носу рябинки.

– Что же ты мою дочь хаешь?! – вдруг вскакивает он с места и чуть ли не с кулаками лезет на Пушкина. – Ты обижать меня вздумал, такой-сякой!... Видно, передо мною уж кто ни есть, а за свою дочку немало рублевиков отсыпал; так ведь и. я к тебе пришел не с пустыми руками...

Пушкин начал было сердиться, но тотчас же и перестал, смех его разбирает. Отстранил он от себя сильною рукой тщедушного Троекурова.

– Держи язык за зубами, – проговорил он, – не то я эти речи твои доведу до государя, как ты вздумал искушать меня рублевиками-то, чтобы я плохой товар подсунул государю.

– Плохой товар! ах ты!

Троекуров засучил рукава и с кулаками бросился на Пушкина. Пушкин тоже принял его в кулаки и, скоро с ним справившись, вытолкнул его вназад из своего дома.

Троекуров остановился на улице и долго стоял неподвижно, в бессильной злобе. Что ему делать? Искать с Пушкина бесчестие нечего и думать. Он такого наскажет, что пропадешь совсем. С мечтами о свойстве царском тоже, видно, придется проститься. Еле-еле, всеми правдами и неправдами дочь попала в список двухсот девушек; теперь же ничего не поделаешь. И бросился Троекуров к себе домой, вымещать злобу на жене да на дочери-невесте...

## IX

Боярские смотры невест происходили утром в одной из более обширных палат дворцовых. В назначенный час прибыли все двести молодых девушек в закрытых колымагах, заранее разосланных за ними. Закутанные фигуру одна за другой выходили из колымаг и скрывались в сенях. Несколько назначенных для этого случая боярынь провожали их в палату. Там они становились одна возле другой длинными рядами. Чудное зрелище представляла палата. Верхняя меховая одежда снята с девушек... Фата уж не скрывает их лица. Длинными вереницами стоят они в своих высоких меховых шапочках, в дорогих парчовых платьях с длинными сборчатыми рукавами; на шее у них жемчужные ожерелья; на ногах разноцветные сафьяновые сапожки с высокими каблуками. Все они молоды, все красивы. А которая из них и похуже – так сразу разобрать невозможно: лица и шеи набелены, щеки нарумянены, брови и глаза подрисованы. Много забот было положено, чтобы выставить невест в самом лучшем виде.

И стоят эти девицы-красавицы в своих дорогих тяжелых уборах, скрывающих под широкими складками их молодые формы, стоят не шелохнутая, будто неживые. На редких лицах видно оживление. Большинство из них просто смущены, испуганы немного; но смущение и испуг скоро переходят в безучастное равнодушие. Многие, очевидно, даже не совсем хорошо понимают значение сегодняшнего дня. Глаза их опущены и только изредка вскидывают они ими, поглядывая на соседок.

Они все еще слишком молоды для страстей, для зависти, честолюбия. Они еще дети. Но детство их какое-то скучное, однообразное.

Конечно, между ними есть и исключения. Некоторые приехали издалека, некоторые знакомы с более широкой, привольной жизнью. В иных уже говорит и сжимается сердце тоскою и страхом, надеждой и сладкой мечтою.

Но ничего этого не прочтешь на их лицах. Им строго наказано пристойно держать себя, то есть казаться как можно деревянное, как можно мертвенное. Им внушено, что если они хоть чем-нибудь

проявят свою внутреннюю жизнь, то будут беды великие и им, и их родичам. И вот они стоят недвижимыми изваяниями. Среди этих девушек и Фима. Ее старая тетка, Куприянова, употребила все старания для того, чтобы племянница не ударила лицом в грязь: она постаралась навешать на нее все дорогие украшения, какие только были у нее. Украшений этих много. Наряд Фимы безвкусен, но никакое безвкусие, никакое излишество ненужных побрякушек не могут затмить красоту ее.

Чудно хороша Фима. Стоит она опустив голову. Глаза ее закрыты, на лице застыло выражение не то тихой тоски, не то усталости. На сердце у нее тяжело и смутно, будто сон какой-то. Вопрос неясный и мучительный стоит перед нею.

Что такое творится с ней в последнее время? Ко да, наконец, все это кончится?

Вот вчера отец от царя вернулся, гордый такой. Радостно объявил, что теперь конец всем невзгодам, объявил, что теперь Митя будет выпущен немедленно. А между тем про Митю ни слуху ни духу. Просила она Андрея узнать о нем, но Андрей совсем обезумел от страха, что у него отнимут невесту. Всю ночь проплакал, как малый ребенок; а поехали они во дворец, так он побежал тоже к Кремлю. Ждет, верно, теперь где-нибудь, чтобы не пропустить ни минутки, чтобы скорее узнать – освобождена ли его Маша.

Маша здесь, в нескольких шагах от Фимы. Они улыбнулись друг другу и снова замерли.

Но что это такое? Вдруг искра какая-то пробежала между всеми собранными девушками. Немые, неподвижные шеренги дрогнули, даже в нескольких местах раздался невольный и тотчас же подавленный крик испуга.

– Бояре идут! – послышался робкий шепот.

Некоторые девушки от страха едва на ногах стояли. Им Бог знает что начинало чудиться. Они точно ожидали какой-то неведомой и ужасной пытки.

Бояре, и впереди всех Борис Иванович Морозов, стали медленно проходить мимо девушек, внимательно их разглядывая. Под этими пристальными взглядами еще ниже опускались ресницы. Испуганно жались девушки одна к другой; но бояре не обращали никакого внимания на их смущение.

Борис Иванович искал глазами сестер Милославских. Вот он перед ними.

Величественно и невозмутимо стоят обе красавицы. Только около губ младшей вьется едва заметная улыбка. Морозов заговорил с ними. Они отвечают ему мерным, спокойным голосом, грациозно кланяются.

– Бояре, – обратился Морозов к окружающим. – Бояре, гляньте-ка, вот так воистину красавицы, эти Ильи Данилыча Милославского дочки!

Бояре быстро переглянулись между собою. Теперь они поняли, в чем дело. Но возражать Морозову во всяком случае не приходилось, да и тем более, что Милославские были действительно красивее всех, стоявших в переднем ряду.

Пушкин взглянул на них, вспыхнул и закусил губу.

«Хороши, хороши, – подумал он, – и Илья Милославский верным ему холопом будет... Ловко придумал Бориска! Только еще посмотрим, чья возьмет. Моя-то все же краше этих писаных скромниц!...»

Он отошел от бояр, отыскал глазами Фиму и затем, вернувшись, стал шептать судьям.

– А ну-ка взгляните, вы, бояре, на эту, – что скажете?

Бояре взглянули, куда им указывал Пушкин – да так и остались с разинутыми ртами. Взглянул и Морозов, – и у него невольно дрогнуло сердце.

«Вот так красавица! Откуда? Кто такая? В жизнь такой красы не видывал! Лучше, лучше, всех лучше!» – мелькнуло в голове его.

Под нежданным обаянием красоты Фимы он бросил свои разговоры с Милославскими и подошел к ней.

Она все продолжала стоять с опущенными глазами.

– Как зовут тебя? Чьих ты родом, красавица? – раздался над нею громкий голос.

Она вздрогнула, подняла глаза. Статный чернобородый боярин перед нею. Лицо важное, бледное, глаза черные, острые. Будто кольнуло ей что в сердце. Страшным отчего-то показался ей красивый боярин.

– Зовут меня Ефимьей, я дочь Рафа Родионыча Всеволодского, касимовского дворянина, – едва слышно проговорила Фима, как приказали ей родные, и низко поклонилась.

Все бояре-судьи были уже около нее. Все глядели на нее изумленными глазами, все шептали:

«Красавица! Воистину красавица!»

Но Фима не обращала на них никакого внимания.

Перед нею был один только страшный чернобородый боярин, и Фиме хотелось только одного: чтобы он отошел от нее подальше и чтобы никогда уж больше ей не видеть его.

Наконец судьи, вдоволь налюбовавшись Фимой, начали подходить к другим девушкам, а затем, окончив осмотр, вышли из палаты.

– Как же мы решим, бояре? – обратился Морозов к своим товарищам.

– Да что же тут решать, – ответили они ему, – дело ясное. Все в добрые жены годятся, да не царю только. А царских невест немного...

– Милославские две, – перебил Морозов, – краше их на всей Москве девиц нету... о них давно уж молва идет, да и царевнам они ведомы...

– Ну да, Милославские – это точно, спору нету, – заговорили бояре, перебивая друг друга. – Хилкова княжна взяла тоже и ростом и дородством... зубы ровно жемчуг, а коса-то? заметили? ниже колен, право слово... хороша девка, больно хороша!...

– Опять и княжна Пронская, грех охать, на что же лучше. У ней вон и мать и бабка были какие! На весь город славились... их уж род такой... беспременно надо ее показать государю...

– Алферьева тоже вот...

– Ну а Всеволодская-то! Хоть и не из наших московских боярышень, а краше всех будет...

– Это точно... не в пример краше!

– Уж и как такая красавица уродилась!!

– Будто она и краше всех? А Милославские? – вымолвил Морозов.

– Так как царь взглянет, это нам неведомо, а на наши глаза – она точно краше всех, и неужто спорить об этом станешь, боярин? Мы ведь это не в обиду Милославским... их краса при них останется...

Морозов, однако, не спорил. Он понимал, что скрыть от царя такую красавицу невозможно.

«Чай, уж заранее Пушкин доложил о ней. Недаром этого старика-отца приволок с его ябедами. Эх, Пушкин! ногу подставить, видно,

хочешь, только вряд ли, брат, удастся... Не все красавицы царицами делаются...»

– Так на том, значит, и порешим? – громко обратился он к боярам. – Сегодня же государь, может, девиц и увидит...

Морозов простился с боярами, поручив своему брату, Глебу Ивановичу, доложить царю об окончании возложенного на них поручения. А сам отправился к царскому духовнику, Благовещенскому протопопу Стефану Вонифатьевичу.

«Хитри себе, Пушкин, – продолжал думать он дорогой, – подставляй красавиц. Мы с протопопом тоже не задремлем – Алешу из рук не выпустим».



Нигде найти не мог себе покою в эти последние дни Царь Алексей Михайлович. Сначала, согласившись на предложение Морозова относительно избрания невесты и разослав своих придворных для призыва на Москву девушек, он вдруг оживился. И ни Морозов, ни другие уж не замечали в нем больше того странного состояния, которое так поразило их в день поездки на медвежью травлю и львиное зрелище. Алексей Михайлович снова повеселел, мечтательное, рассеянное выражение лица его исчезло. Он опять стал интересоваться всем, чем интересовался прежде, «сидел» с боярами, вникал в дела, ходил на медвежью охоту; а во время служб церковных и вечером в Крестовой усердно молился.

Но вот девушки-невесты в Москве. Вот бояре выбирают для него самых лучших, самых прекрасных. Морозов расхваливает красоту дочерей Ильи Милославского. Пушкин толкует о неслыханной красавице касимовской.

И опять спокойствие покидает молодого царя. Опять он в волнении, рассеян, в мечтах забывается. Он знает, что сегодня бояре уже высмотрели для него шесть красавиц. Теперь и сам он может взглянуть на них. Сегодня, завтра, когда только он захочет, перед ним явятся эти красавицы, и он должен будет из них выбрать себе жену – царицу.

Страшно и как-то волшебнo-сладко становится на душе Алексея Михайловича. Он и торопит этот час заветный, и в то же время страшится этого часа.

К обеду собираются привычные собеседники, в том числе и Морозов да духовник царский, Стефан Вонифатьевич. Бояре объявляют царю, что выбор сделан. Спрашивают, когда он невест смотреть будет. Но он только краснеет и не говорит им ни слова – заминает эти речи. А в то же время ему страстно хочется, чтобы кто-нибудь поговорил об этих красавицах.

И сам он не знает, что с ним делается, не может усидеть он на месте.

Обед идет обычным чередом, с обычными церемониями. Бояре видят смущение государя, понимают его и не продолжают разговора о невестах. Начинается всегдашняя беседа; но Алексей Михайлович рассеян, не слышит, что говорят бояре; даже есть забывает, не до еды ему теперь.

Обед кончен. Бояре с низкими поклонами выходят. Остаются только Морозов да духовник.

Борис Иванович улучил первую удобную минуту, подошел к своему воспитаннику и, ласково ему улыбнувшись, сказал:

– Так как же, государь, когда смотреть невест будешь? Коли начато дело, так нужно его и кончить. Да и невесты-красавицы совсем измучаются... Чай, у каждой из них теперь душа не на месте, в один день истают как свечи.

– Завтра, – опустив глаза, проговорил Алексей Михайлович.

– Вот это ладно. А теперь я порасскажу тебе, государь, о том, что было утром. Выбрали мы по общему решению шесть красавиц. Краше их, я чаю, и во всем свете не сыщется. Ну одно слово – для тебя выбирали! сам увидишь. А только мне все теперь мысли разные в голову приходят. Красота красотой, да ведь не одна красота для жены доброй, а тем паче для царицы нужна. Полюбится тебе одна из этих красавиц, обвенчаешься ты с нею, а вдруг она нравом окажется дурна, сердцем зла?! Что тогда делать? Красота-то приглядится скоро, да и пройдет вместе с молодостью, а сердце останется... Грустно мне, государь, грустно твоему старому дядьке помыслить о том, что вдруг, не дай Бог, из нашего выбора выйдет тебе несчастье. Будем мы перед тобою в ответе. Зачем, скажешь, вы мне, бояре мой ближние, жену злую указали. Так вот об этом-то я весь день и думаю...

Алексей Михайлович внимательно слушал, положив голову на руки и глядя большими светлыми глазами на своего друга и дядьку. Спокойное, величавое лицо Морозова было грустно, но острые глаза так и впивались в государя. Он продолжал прежним мерным голосом:

– Все выбранные нами девушки воистину красавицы, которая из них краше – сказать мудрено. Одному одна покажется, другому другая; но всякий про любую из них скажет: «Вот царица!» Так, стало быть, по красоте они равны. Но которая из них нравом лучше, сердцем добрее, которая больше будет лелеять и беречь тебя, которая достойна великого счастья, что выпадает ей на долю?... Темное дело – узнать

сердце девичье, а особливо при наших обычаях. Девицу в тереме хоронят от всякого взгляда. Никто ее не видит, не слышит, сам о ней судить не может. Но все же, стоит захотеть только – и кой-что узнаешь про каждую девушку. И вот я, о тебе помышляючи, вызнал ноне все, что мог, о выбранных нами невестах. Княжна Пронская хороша бесспорно, да мамушки и нянюшки бают, горда больно, в отца уродилась. Про Хилкову княжну мне поведала тетка ее родная, старуха добрая и разумная: всем, говорит, хороша моя племянница, да слезы у нее больно дешевы, от всякого пустого дела в три ручья заливается. Ни разу, говорит, ее улыбки я не видала. И всего-то у нее вдосталь, родители у нее добрые, горя никакого нету, а плачет и плачет. Смутился я, как услышал эти речи. Оно, конечно, плакать – бабье дело, только уж коли слишком часто плакать, так хуже этого ничего, кажись, и быть не может.

– Да, это правда, – проговорил Алексей Михайлович. – Я не люблю пласивых. Вон как сестрица Аннушка, что тут хорошего. Ну а про других что скажешь, Борис Иваныч?

– Алферьеву тоже мы выбрали – красивая, статная, здоровая. А признаться, я уж хотел было спорить с боярами, чтобы заместо нее поискать другую. Ничего про нее дурного не знаю – узнать-то мне неоткуда – а смущает она меня. Заговорил я с нею и так, и эдак, – ну и поистине скажу тебе, государь, сдается мне, Господь ее разумом обидел: невпопад все как-то отвечает. И нельзя сказать, что она в смущении, нет, глядит так смело... Зато есть две другие, я уж говорил тебе про них, сестры Милославские. Как они красивы, сам увидишь, а про нрав их я могу сказать тебе, знаю хорошо, как дома-то ведены они, девушки добрые, скромные, разумные, а особливо старшая. Вторая молода еще, ее распознать труднее, почти ребенок. Да вот пускай про них тебе и отец Стефан скажет. Он у них в доме бывает – духовник их тоже.

Протопоп все молча стоял в углу и делал вид, что внимательно разглядывает какую-то духовную книгу. Теперь своей тихой походкой подошел он к государю.

Это был еще не старый человек, довольно внушительной наружности, хотя и с заметно красноватым носом, обличавшим его, хорошо всем известную, слабость к русским медам и дорогим иноземным напиткам. Отец Стефан пользовался еще у покойного царя

Михаила Федоровича большим почтением. Молодой же царь, при своем всегдашнем религиозном настроении, чрезвычайно уважал его и часто слушался его советов.

– Это боярин про дочерей Милославского тебе рассказывает, государь, так и я могу тоже засвидетельствовать: всем изрядные девицы. Господь щедро одарил их и красотой телесного, а паче того красотой духовною. И коли время тебе, государь, пришло избрать жену, то лучше сих двух девиц не сыщешь ты во всем обширном государстве русском. Боярин Борис Иваныч, печалась о твоём благе, указывает тебе на сих двух достолюбезных чад. Из оных же старшая, Мария, пришла уже в возраст и, аки отец ее духовный, ведая все помышления и изгибы нелицемерного и невинного сердца ее, аз глаголю ти: останови, государь, на сей девице твой выбор!

Протопоп остановился и обменялся с Морозовым многозначительным взглядом: «Видишь, мол, Борис Иваныч, как я свое обещание исполняю, смотри не забудь же этого!»

Царь сидел задумчиво и уже не слышал дальнейшей речи протопопа. А протопоп продолжал говорить долго и все в том же тоне, от церковного языка переходя к разговорному и наоборот, уснащая речь свою текстами Священного Писания, которые, как он хорошо знал, всегда сильно действовали на благочестивого юношу.

Алексей Михайлович думал:

«Конечно, они правы и добра мне желают. Конечно, им лучше знать, какая невеста-девушка будет хорошей женой и царицей, но к чему же тогда я из шести выбирать должен – лучше бы мне других и не видеть. Вот они так хвалят старшую дочь Милославского, а вдруг мне больше понравится какая-нибудь другая. Ах, как это все трудно, как все это страшно!... Да что же это? а та красавица касимовская, про которую говорил Пушкин, они ведь про нее ни слова».

– Борис Иваныч, – живо обратился он к Морозову, – ты позабыл еще одну из тех, которые вами выбраны, – Всеволодскую. Как она тебе показалась? Пушкин мне много говорил про красоту ее и про нрав ее кроткий.

Морозов с досадою пожал плечами, и по лицу его скользнуло злобнее выражение.

– Что она красива, в том спору нету; но не знаю я, откуда и как мог Пушкин узнать ее. Нам про нее ровно ничего не известно, и

сдается мне, что не годится она в царицы. Выросла в глуши деревенской, отец ее, сам, государь, знаешь – человек темный, бедный. Тоже опасно ведь взять девушку невесть откуда! Нет, государь, ни я, ни отец протопоп никогда мы тебе не посоветуем увлечься красотой сей девицы, Боже сохрани и избави!

– Чего же ты так встревожился, Борис Иваныч, – перебил его царь, – ведь я еще никого из них не видал; может, она мне и не понравится. Да и после того, как вы с отцом протопопом так расхваливаете и так хорошо знаете дочь Милославского, мне кажется, я только на нее смотреть буду – других и не увижу.

Проговорив это, Алексей Михайлович встал со своего места, улыбнулся, щеки его вспыхнули, и он ласково взял Морозова за руку.

– Ох, Иваныч, жутко мне! Коли завтра да прямо выйду я к ним и должен буду сейчас же выбирать – не знаю, что со мною и будет. Нет, пускай невесты сегодня же вечером соберутся у сестер в тереме; я их там тихонько увижу. Распорядись об этом, пожалуйста... Помню я, батюшка рассказывал, что и он так-то невесту себе высматривал... вот и я хочу тоже увидеть их всех да разглядеть порядком, да так, чтоб они меня не видали, а приметят, так за кого ни есть сочли, хоть за гусяра, что ли...

Решение Алексея Михайловича очень не понравилось Морозову. Ему гораздо приятнее было не дать жениху возможности разглядеть девушек. Чем более бы смутился он, тем вернее было бы торжество Морозова. Царь наверное тогда прямо бы подошел к Милославской, о которой ему заранее так натолковано. Но отказать государю в исполнении его желания невозможно.

Вдруг новая мысль пришла в голову Морозову: ничего, пожалуй, даже еще и лучше, если он увидит их сегодня. Он передаст, конечно, свое впечатление ему, Морозову, и если даже приглянется не Марья Милославская, то все же до завтрашнего утра еще будет время его настроить, уговорить, и нечего уж будет опасаться внезапного и неприятного выбора – этот выбор будет заранее решен и обдуман.

– Ладно, государь, – сказал Морозов. – И в прежние годы, еще и до родителя твоего, цари не раз так же невидимкою невест высматривали. Это обычай старый. Желание твое будет исполнено. Тотчас же сделаю распоряжение и доложу царевнам, А ты, государь,

займись пока чем-нибудь, а то побеседуй с отцом протопопом, время-то еще раннее.

Морозов ушел. Протопоп начал царю поучение о жизни семейной по «Домострою», о качествах доброй жены, об обязанностях мужа.

Но царь в этот раз довольно рассеянно его слушал. Ему опять слышалась из какого-то волшебного далека сладкозвучная песнь птицы сирина, и опять манила его эта песнь, волнуя кровь, поднимая в сердце неясные ожидания. Он с нетерпением ждал рокового часа, в который должна решиться судьба его.

Постельные хоромы дворца, в которых жили царевны, со времени смерти царицы сделались еще недоступнее для привычных дворцовых посетителей. Сюда имели право свободного входа только боярыни, да и то в редкие дни, назначенные для их приезда. Сам Борис Иванович Морозов не решался нарушать принятого обычая и никогда сюда не заглядывал.

Здесь распоряжались старые верховые боярыни и мамы, сновал с делом и без дела всякий женский дворцовый чин: казначеи, учительницы, кормилицы, комнатные бабы и мастерицы. Здесь был свой собственный, совершенно замкнутый мирок, живший своей жизнью, заполнявший время всевозможными мелкими интригами, сплетнями, устраивавший и свои радости, и свое горе, драмы и комедии.

Если кругозор и интересы тех людей, которые вращались на другой, мужской половине дворца, должны были показаться заезжему образованному человеку того времени необыкновенно узкими, если именитые бояре поражали, в большинстве случаев, грубостью своих нравов, бессмысленною животною жизнью, то женский мир дворца представлял собою явление совершенно уж безотрадное. В плохой школе приходилось воспитываться царевнам, мало путного могли внушать им их лицемерные наставницы. О действительной, живой жизни они не имели ровно никакого понятия, ничего не знали, кроме своего терема, теремных печалей и радостей.

Последняя великая печаль – смерть матери царицы – отошла, рассеялась. Удовольствий было немного, да и эти немногие удовольствия давным-давно наскучили – все эти потешные немцы с цимбалами, скоморохи, домрачеи, карлы и карлицы, нищие, дураки и дуры. Так и немудрено, что весть о предстоящей женитьбе брата живо затронула царевен и всех теремных обитательниц. С утра и до вечера шли у них теперь разговоры об этом великом событии. Когда же Морозов объявил, что царевны должны принять избранных для государевых смотрин девушек и что царь тихомолком будет смотреть их, – в тереме все заволновалось. Царевны пришли в великое

восхищение и, быстро нарядившись, как подобало для такого редкого случая, приготовились к приему гостей, из которых они до сих пор знали уже четырех: Пронскую, Хилкову да сестер Милославских.

Пришел ранний зимний вечер. Теремные покои рассветились многими свечами. Все постоянные обитательницы терема уже собрались и, в волнении перешептываясь друг с другом, ожидали. Вот привезли, наконец, и невест. Они идут, робко озираясь во все стороны, представляться царевнам.

Больше всех робеет и смущается Фима. Она еще с утра не может прийти в себя. Страшный нынче день выдался. И так уж все беды в последнее время нахлынули, а с утра сегодняшнего совсем, видно, пришла гибель, совсем сглазил ее своими лукавыми глазами чернобородый боярин. Как узнала она, что ее выбрали вместе с пятью другими – не взвидела свету, тяжело и горько стало у ней на душе, слезы невольные из глаз брызнули. Со всех сторон на нее глядят завистливо. Есть чему завидовать! Домой, домой скорее, думалось ей, когда окончился смотр боярский; но не тут-то было: пришлось выдержать новую пытку. Те, счастливые, избранные, по домам разъехались. Пришлют им подарки царские и отпустят их на все четыре стороны. Они свободны. У кого есть жених – то-то счастье, то-то радость! А избранных во дворце задержали. Отвели их в отдельный покойчик, принесли им яства, сласти разные, угощали их. А потом явились бабки дворцовые, за бабками немец-дохтур.

Не взвидели света красавицы – со стыда чуть не померли...

Наконец, натерпевшись всякой муки, приехала Фима домой. Отец, мать, тетка, Пафнутьевна ее окружили.

– Ну что, как? – начались расспросы.

Залилась она горькими слезами, кинулась на шею к Настасье Филипповне. Едва могла выговорить:

– Беда моя лютая... выбрали... царю будут показывать!...

Перекрестился молча Раф Родионович, сел на лавку, опустил голову. И трудно было разобрать его думы. А женщины голосить стали не от горя, а с великой своей радости.

Настасья Филипповна, в материнской гордости сама себя не помня, совсем стала как угорелая. Пафнутьевна торжественно оглядывала Фиму и шептала:



– Что же, я ведь говорила, так и быть оно должно – разве краше Фимочки есть кто на свете?...

– А Митя-то, Митя!! где он? – заливаясь слезами, повторяла Фима.

Ей сказали, что Митя, видно, уж теперь выпущен на свободу; а коли еще не выпущен, то к вечеру непременно его выпустят. Но при этом прибавили, что ей о нем, собираясь предстать перед царские очи, нечего думать, чтобы она ни себя, ни родных своих не срамила.

Как подстреленная птичка, пораженная этими словами, притихла Фима. Она вдруг поняла, что с сегодняшнего дня совсем рушится связь ее с прежней жизнью.

«Только как это? нет, что же такого, что выбрали – ведь нас шестеро. Другие лучше меня, больше царю понравятся!» – успокаивала она себя и никак не могла успокоить.

Какой– то внутренний, неведомо откуда звучащий голос говорил ей, что все кончено и пропало, что вконец испортили ее лукавые глаза черного боярина.

«Да где же Андрюша? Хоть бы с ним словом перемолвиться. Упросить его добыть Митю. Они бы тогда, может, и решили, как им быть теперь. Только нет Андрюши – с утра он домой не возвращался. Ей горе – ему радость.

Не выбрана его Маша... Он там теперь – с нею, забыл и думать о сестренке, о друге своем Мите!»

Как в тумане каком пробыла несколько часов Фима, есть ничего не могла, ни о чем не думала. А тут вот опять из дворца посланный с колымагою. В колымаге боярыня верховая, во дворец зовут к царевнам.

Вот и приехала Фима.

Тошно на душе у нее. Диким ей все кажется – весь этот блеск, никогда не виданный, вся эта роскошь в тереме царевен. Словно в бреду ей все это чудится.

Помнится, несколько лет тому назад больна очень была она, в жару лежала, так чудилось ей все такое дивное. Вот теперь то же самое. И не разберешь – явь ли то или сон – пестро все так, перепутано... Огни горят... и конца этим огням нету. В глаза так и кидаются: хитрая резьба, парча, ковры яркие. Со всех сторон вырастают чудные лица, карлики, уродцы. Вот прямо на нее смотрит черная морда. И не разберешь, что это: зверь ли заморский или

человек. Нос расплюснутый, лба совсем почти нету, на голове тюрбан огромный. Рот до самых ушей, губы толстые, красные, а изо рта глядят зубы белые – злобно так скалятся...

Вот кричит что-то диким голосом птица какая-то серо-красно-зеленая, на золотом кольце качается. И говорит та птица человеческим голосом...

Все чуднее и чуднее Фиме – уж не сознает, где она. Ей кажется, будто она летит в пространстве, и на нее со всех сторон надвигаются всякие дива.

И опять она будто падает и опять различает: жарко натопленные, изукрашенные покойчики, те же молодые и старые, прекрасные и уродливые лица. Те же чертенята и карлы, та же говорящая человеческим голосом птица... Красивые, нарядные девушки ее окружают, улыбаются ей, заговаривают с нею. Но она не знает, как и отвечать им, говорит бессознательно. Ее усаживают на мягкую скамью парчовую, угощают сладостями. Вдруг раздаются тихие музыкальные звуки. Несколько мужских фигур показываются у порога. То музыканты. Тихие звуки разрастаются, переходят в громкую плясовую пьесу.

Но эта веселая музыка не радует, а только поднимает новую боль в сердце Фимы. Ее душат слезы...

И вдруг она совсем очнулась, туман рассеялся. Теперь она уж может отчетливо различать все, что ее окружает. Она видит себя среди молодых красавиц. Рядом с нею одна из царевен. В ногах у них, посреди комнаты, на мягком ковре сидят две уродливые карлицы и арапка. Музыканты продолжают играть у порога. Фима взглянула на них и внезапно вздрогнула. Прямо на нее, прямо в глаза ей, устремлены глаза одного из музыкантов. И что же это с ней такое? Отчего не может она оторваться от глаз этих? Отчего лицо этого музыканта не уходит от нее? Он молод, очень молод, и никогда еще в жизнь свою не видала она такого красавца. Странная улыбка на лице его, на щеках нежных то вспыхивающий, то потухающий румянец. Все глядит он на нее, не отрывается.

Фима опустила глаза, но так и тянет ее взглянуть снова. Что-то совсем необычайное заметила она в лице этом. Оно ей кажется чуднее, непонятнее всего, что вокруг нее творится. Где же прежде видела она лицо это? Оно ей так знакомо. Только нет, нигде она его не

видала. Как может он так смотреть на нее? Зачем он так смотрит? Ей досадно, ей обидно, и в то же время ей опять хочется взглянуть на него. И она боится, что он уж на нее не смотрит...

Отчего же все это? Что с нею? Она вся дрожит, она чувствует, что вот-вот зарыдает.

Но в эту самую минуту снова прежний туман ее охватывает, и она перестает различать предметы. Прежний сон, пестрый, причудливый, снова начинается под звуки то замирающей, то с новой силой раздающейся музыки. Только в этом новом сне, среди чудес и разнородных причудливых образов, теперь рядом с нею непонятное лицо волшебного музыканта, его тихие глаза, умильно и ласково смотрящие ей прямо в душу.

Фима была права, когда думала про Андрея, что он теперь забыл и о ней, и о Суханове. Действительно, он не мог в этот день ни о ком и ни о чем думать, кроме своего собственного благополучия. Маша Барашева не приглянулась боярам; то, что казалось Андрею невозможным, невероятным – между тем случилось. Андрей воображал, что как только увидят бояре Машу, так на других красавиц и смотреть не захотят. Он был в этом совершенно уверен и, несчастный, отчаявшийся, ожидал у ворот кремлевских того времени, когда невесты поедут из дворца, когда ему придется окончательно убедиться в своем горе.

Самые дикие, самые ужасные мысли мелькали в голове его. То он внезапно решался идти во дворец и силою вырвать оттуда Машу. Он мысленно уже выходил на бой со всеми боярами, которые ее выбрали. Потом его решимость пропадала, им овладевало отчаяние, и он помышлял даже о проруби, которую заметил, переходя Москву-реку.

Проходит два мучительных часа ожидания, и вот наконец колымаги начинают выезжать из Кремля. Андрей бросается чуть не под колеса, пристально всматривается – в одной из закутанных женских фигур узнает Машу. Может, он ошибся – только нет, ему ль не узнать ее, как бы она ни была закутана!

Как сумасшедший побежал он за колымагами на Покровку, где остановилась Маша с матерью, замужней сестрою и зятем.

Добежал он, едва переводя дыхание, едва вырвавшись из рук встречного стрельца, который было принял его за убежавшего вора.

У Барашевых, к великому своему изумлению и ужасу, он застал всех в смущении и печали.

«Машу вернули назад, не выбрали, царь ее не увидит – экое несчастье!» – повторялось на всякие лады домашними.

Андрей только с недоумением смотрел на родных Маши, которые вместо того, чтобы радоваться и веселиться, так повесили головы. Он начал обо всем расспрашивать, изумлялся слепоте бояр... «Видно, затмение нашло на них! Ну как же могли они предпочесть Маше кого

бы то ни было!» Он не мог усидеть на месте от восторга и нетерпения увидеть свою красавицу.

Но красавица не выходила в горницу – она переодевалась. И Андрею приходилось беседовать с мужем Машиной сестры, которого он недолюбливал.

Да и вообще-то вся эта семья не приходилась ему по сердцу. Он всегда удивлялся, каким образом такая золотая девушка, как его Маша, могла иметь подобных родственников.

Еще в Касимове Андрей немало дурного наслышался о семье этой. Да вот хотя бы замужество старшей сестры Маши... Дело было на виду у всех и о нем в свое время много говорили в Касимове.

Дворянин Артемьев, человек зажиточный и уже не первой молодости, овдовел и задумал вторично жениться, тем более что от первой жены детей у него не было. Знал он, что у Барашева две дочери, из которых одна красива, а другая уродлива да вдобавок еще и с изрядной хромотою. Было это года четыре тому назад. Старшей Барашёвой, Софье, тогда восемнадцать лет исполнилось, а младшая была всего по пятнадцатому году, но вышла она из себя такая рослая да полная, что все семнадцать лет можно ей дать было.

Старик Барашев охотно принял сватовство Артемьева; сказал, что его дочь Софья красивее другой уродилась. Назначили, по обычаю, смотрины, а на смотринах и вывел он перед Артемьевым не Софью, а Машу. Жениху невеста сильно приглянулась. Ударили по рукам, потолковали как следует о приданом и обо всем прочем, составили запись, назначили день венчанья.

В церкви было довольно темно, невесту, окутанную фатою, ввели под руки две женщины-родственницы. Простодушный Артемьев не всматривался в лицо невесты – он ее и так хорошо разглядел во время смотрин. К тому же человек он был набожный, понимал важность таинства и усердно молился. Обвенчались благополучно, и только по возвращении домой, когда новобрачная сняла перед мужем фату, он увидел совсем незнакомое ему, некрасивое лицо.

Можно себе представить его ужас и бешенство. Он накинулся на старика Барашева, но тот спокойно отвечал ему, что ведь он сватался за его старшую дочь, Софью, и что Софья теперь с ним обвенчана и будет ему верной и послушной женою.

Затеял было Артемьев дело, но и воевода касимовский, и духовное начальство тянули сторону Барашева, Артемьев подумал-подумал – да вдруг и присмирел. Человек он был, как уже сказано, далеко не молодой, нрава мягкого, обиды долго не помнил. Надумал он, что с некрасивой женой оно, пожалуй, и лучше, спокойнее, да и к хозяйству она, как старшая, приучена больше – а ведь для хозяйства-то он, главным образом, и женился.

Взял он к себе некрасивую жену и зажил с нею мирно, только, конечно, для порядку изредка колотил и попрекал ее. Но она, несмотря на свою хромоту, была очень крепкого сложения, побои выносила легко и на попреки не обижалась. Поосмотревшись и изучив бурливый, но в то же время совершенно слабый характер мужа, Софья сама стала давать ему сдачи. Барашев скоро умер. Вдова его вместе с Машей переселилась к зятю, который уже не засматривался больше на красавицу Машу. Он оказался теперь совсем в руках жены и тещи, и они, как говорится, вили из него веревки.

Истории, подобные артемьевской, случались в то время очень часто и никого не удивляли. Всем казалось совершенно понятным и естественным, что родители употребляли все возможное для того, чтобы сначала выдать замуж старшую дочь, тем более, если она некрасива. Кому же приятно оставаться с залежавшимся или плохим товаром на руках. Впросак попадались обыкновенно люди, придерживающиеся стародавних, исконных понятий и обычаев, требовавших, чтобы жених не знал своей невесты, чтобы девушка до самого брака жила затворницей, не попадалась на глаза мужчинам. Только, конечно, большинство подобных историй не так благополучно оканчивалось, как артемьевская. Обманутые мужья судились и иногда выигрывали дело. Им разрешалось развестись с женою, выданной им обманом. Если же не находили они удовлетворения по суду, что случалось гораздо чаще, то справлялись собственной силою, силою своих друзей и холопов – побоищем и разорением мстили отцу невесты.

Самую же плачевную роль, конечно, приходилось играть некрасивой жене.

Муж хорошо понимал, что она не виновата, что она не могла идти против родительской воли, да часто и не знала правды; но пожалеть несчастную жертву никому не приходило в голову. Муж, видя, что

законными путями ему нельзя отделаться от жены, решался как можно скорее известить ее. И изводил побоями и всякими терзаниями, и считал себя при этом в своем праве...

Выдав старшую дочь обманом и взяв зятя в руки, старуха Барашева уже давно думала о том, как бы ей повыгоднее и получше пристроить младшую, красивую Машу. Она очень высоко ценила красоту ее, которая, конечно, еще больше обращала на себя внимание от постоянного сравнения с безобразием старшей сестры.

– Машу нужно хорошенько пристроить, – и про себя думала, и приятельницам своим поговаривала старуха. – Ей не такой жених под пару, как Артемьев... Ну, а где ты тут у нас в Касимове жениха настоящего достанешь?! Коли человек богатый да родовитый, так живет в своем поместье, не то в Москве, а здесь только подьячие!

Поэтому старуха и обрадовалась впечатлению, произведенному Машею на Андрея Всеволодского. Она тотчас же доподлинно о нем узнала – и решила, что он жених подходящий. Не из богатых – это точно, да только люди поговаривают, что у отца все же немалая денюга накоплена. Рода старого, дворянского, парень молодой, видный. Сам собою не Бог весть что, да на безрыбье и рак рыба. Кого еще ждать-то, ведь годы проходят – Маше уже восемнадцать лет исполнилось. Только как бы не проглядеть его, не упустить...

И Барашева всячески обласкала Андрея. Теперь скрывать невесту было нечего, напротив, надо было всячески забрать в руки, чтобы не отступился. Поэтому молодым людям была разрешена некоторая свобода. Они могли видаться и говорить друг с другом, конечно, при свидетелях. Но в таких случаях никакой глаз не усмотрит, Андрей успел уже перешепнуться с Машей, успел сорвать поцелуй с ее губ румяных.

А тут вдруг бояре московские... клич царский по невестам, поездка на Москву. Старуха Барашева была баба хитрая, рассудительная. Сначала не очень-то верила в такое необычайное счастье и попридерживала Андрея.

«Конечно, – думалось ей, – в Москве, может быть, коли даже и не царь – это-то вряд ли – так другие хорошие женихи найдутся. Ну так там будет видно. А и то: вон у Всеволодских девка-то какая, Афимья, кто ее знает – может, ей судьба выйдет, так Андрюшка наш в ту пору

важным женихом сделается. Ничего, пускай себе приходит, места не отсидит».

Однако, хотя и благоразумно в первое время рассуждала Барашева, все же она невольно питала надежду: а вдруг и выпадет счастье на долю Маше, будет она царицей, не хуже других ведь!

И надежда эта была такого рода, что раз пришла она, так уж и не уходила; а напротив, по мере приближения к роковому дню избрания увеличивалась все больше и больше.

Приехав в Москву, Барашева тотчас же принялась совершать походы по всем церквам. Служила молебны всем московским угодникам, горячо молилась перед мощами, прося у Бога и чудотворцев счастья для своей Маши.

И кончилось все это тем, что вдруг, накануне смотра боярского, она окончательно позабыла свою прежнюю рассудительность, уверовала всем сердцем в то, что Маша будет избрана невестой. Она только никому, ни зятю, ни дочерям не поверяла своих мыслей. Она сама про себя знала: не могут же даром пройти все молебны, все свечи, поставленные ею перед мощами и чудотворными иконами! Она отпустила во дворец дочь свою и внутри себя торжествовала.

А тут вот дочь вернулась ни с чем: не только что царь не избрал ее, но даже и бояре забраковали. Совсем взбеленилась старуха, чуть не отреклась от святых угодников, которые, несмотря на все свечи и молебны, так жестоко поступили с нею.

Но все же, в то время как прибежал запыхавшийся Андрей Всеволодский, она уже справилась с собою и неподвижно сидела в углу, хмурая и неприветная.

«Кого же выберут? Кто эта счастливица-красавица? Наверно хуже моей дочки – такую не найдешь другую... Да ну их совсем!... Авось хоть подарки царь пришлет хорошие. А то легко ль сказать: из Касимова сюда притащились, дела все бросили, исхарчились совсем. Ну а Машутке все же таки жениха надо хорошего. Как там ни на есть: царская невеста! – дурную бы ведь не поволокли в Москву...»

– А сестрица твоя, батюшка Андрей Рафыч, тоже домой ни с чем вернулась? У Машуты-то я спросить забыла, – обратилась старуха к Всеволодскому.

– Кажись, нет, – ответил он. – Марья Дмитриевна из последних была, я во все колымаги заглядывал, сестры не видал.



«Неужто Всеволодским такое счастье? – со злобой и завистью подумала Барашева. – Так чтобы хоть Андрюшка-то не отстал, хоть за него уцепиться...»

– Что же мудреного, – сдерживая свои чувства, ласковым голосом заговорила она. – Сестрица твоя ведь, уж известно – писаная красавица, не чета моей дочурке. Может, царицей будет, тогда и ты в гору пойдешь, так смотри, не забывай нас, бедных, попомни, голубчик, нашу ласку. Так-то, сударь ты мой, Андрей Рафыч! А мы тебя от всего сердца полюбили, как родного... Право слово, иной раз гляжу я на тебя и таково тягостно мне станет – сыночка-то мне не послал Господь... вот такого бы, как ты... то-то сердце бы мое радовалось...

Она встала, вышла из горницы и кликнула Машу. Та, уже переодетая в свое обыкновенное платье, вошла, поклонилась Андрею и молча села в уголочек.

Андрей замер от счастья при входе возлюбленной; только попристальнее взглянувши на нее, неожиданно смутился. В ее лице он не прочел никакой радости, напротив: красивое, румяное лицо Маши показалось ему очень побледневшим, веки глаз покраснели.

Она, очевидно, плакала.

«Боже! о чем ей теперь плакать?»

Он подсел к ней.

– Что это ты пригорюнилась, Марья Митревна?

Маша взглянула на него, и на глазах ее помимо воли блеснули слезы. Совсем упало сердце у Андрея.

– Маша, что же это? Неужто обманула меня, неужто не любишь? – тихо шептал он.

– Нет, я ничего, что же? – ответила она. – А срамно больно... Чем же я хуже других?...

Ее голос прервался, и из красивых глаз брызнули слезы, которых она уже не могла сдерживать.

– Осрамили совсем... забраковали, словно урода какого!...

Артемьев, бывший в горнице, вышел. Андрей остался один с Машей. Он быстро кинулся к ней, схватил ее за руки.

– Маша, голубка моя, не терзай мне сердце! Или впрямь не любишь, так скажи; лучше убей разом... Сам Бог пожалел нас, не знаю, как и благодарить Его. Отвел он глаза боярам, не разглядели они тебя. Разглядели бы, так не выпустили бы. Коли была у меня надежда,

так единственно на то, что бояре своих сродственников выбирать станут, так оно и сделалось. А уж кабы на глаза царю ты попалась, так не миновать нам гибели, он бы на других и смотреть не захотел.

Но при этих словах Андрея Маша заплакала еще горше прежнего.

– Бояре своих сродственников... – захлебываясь слезами шептала она, – а ведь вот же сестру твою выбрали, за красоту выбрали!

Она зарыдала и выбежала из горницы.

Андрей остался один; долго сидел он повесив голову. Счастья, которое он еще за полчаса до этого испытывал, теперь как не бывало.

Вошла старуха Барашева, вошла Софья Артемьева; они говорили ему что-то. Он отвечал им, сам не сознавая того, что говорит.

Как полоумный вышел он от них и побрел по улицам московским, ничего и никого вокруг себя не видя. Маша не отказала ему. Она плачет только от обиды, что не оценили, не признали красоту ее, о которой сам же он ей прожужжал все уши. Она ничем не виновата, но счастья все же нету! Тоска в сердце Андрея, тошно ему глядеть на свет Божий.

Алексей Михайлович в волнении ходил скорыми шагами по своей опочивальне. В большом покойном кресле, у царской кровати, сидел Морозов и зорко следил за всеми движениями своего воспитанника. Он хорошо видел его волнение и думал, что понимает состояние его духа.

Молодой царь был еще в одежде музыканта, в которой он пробрался к сестрам, чтобы, оставаясь неузнанным, хорошенько разглядеть красавиц, из которых на следующее утро он должен был выбрать себе невесту.

Борис Иванович, сопровождавший царя и в покои царевен, имел при этом, конечно, цель уловить впечатление, произведенное на него какою-либо из приведенных девушек. Однако хитрый боярин остался очень недоволен: как ни следил он, ничего не выследил. Царь, как нарочно, постоянно становился таким образом в дверях царевниного покоя, у которого играли музыканты, что Морозов никак не мог разглядеть лица его; он заметил только его волнение, которое и теперь продолжается. Конечно, эти девушки, из которых каждая могла сделаться его подругой, должны были особенно поразить его. Ведь до сих пор он был совсем ребенком, до сих пор он ни на одну женщину не глядел с такими мыслями. «Но которая из них ему больше понравилась? И успела ли которая-нибудь ему больше понравиться, сделал ли он выбор? Ведь все хороши... А та-то, та... касимовская... ух, как хороша она... проклятый Пушкин, знал, как подставить ногу!...»

«Ну да не вытерпит царь – все скажет, что теперь на душе у него, ему ли от меня таиться!...»

Морозов все пристальнее и внимательнее вглядывался в юношу, а тот, как будто совсем забывшись, бессознательно и порывисто ходил из угла в угол по своей опочивальне. На лице его было необычное и странное выражение, в котором мелькали то восторг какой-то, то грусть непонятная.

– Что же, государь, время позднее, – наконец сказал Морозов. – Чай, и отдохнуть пора. А на завтра пораньше подняться да, Богу

помолившись, принарядиться, молодцом выйти к невестам-красавицам...

Царь вздрогнул, услышав голос Морозова, и остановился. Его мысли, грезы, очевидно, были далеко, он только что пришел в себя.

– Да, пора, – проговорил он и начал раздеваться с помощью подошедшего к нему Морозова.

– А что же ты ничего не скажешь мне, государь? Али недоволен невестами, недоволен нашим выбором, али мы тебе не угодили?

Царь опустил глаза и не знал, что отвечать на слова эти. Он не мог, не хотел высказывать того, что было теперь у него на душе. Ему хотелось одного: поскорее остаться наедине со своими мыслями, грезами и теми новыми чувствами, которые теперь наполняли его сердце. Может, в первый раз в жизни присутствие Морозова казалось ему надоедливym, несносным.

– Зачем ты так говоришь, Иваныч? – шепнул он. – Я никогда сроду не видывал таких красавиц, каких вы мне выбрали!...

– Но какая же, какая из них тебе больше по нраву?

Царь молчал.

– Ну что же, – продолжал Морозов, – али передо мной, старым дядькой, скрываться хочешь? Али уж, видно, прошло то золотое времечко, когда перед отходом ко сну все свои думки мне сказывал? Поведай, что у тебя на душе, поведай, золотой государь мой! У всех у нас, верных слуг твоих, сердце дрожит; не заснем мы спокойно, пока не сведаем о твоём выборе...

Он с доброй и ласковой улыбкой заглядывал в глаза царя и вдруг, словно не в силах будучи удержаться, опустился перед ним на колени и своими сильными, твердыми руками обвил стан его.

– Дитятко мое ненаглядное, – говорил он, – соколик ты мой! Да взгляни же ласково на старого дядьку!... Скоро уж не осмелюсь я так обнять тебя, не осмелюсь так говорить с тобой... А теперь, в последний хоть разок-то, позволь назвать тебя дитяткой... Солнышко мое красное, обними меня, как бывало, скажи, что по-прежнему любишь твоего Иваныча, открой мне свою душу. Заполонила, что ль, тебя краса девичья? Не стыдись, признайся... в том нет худого, а вот было бы ходу, если бы ни одна не пришлась тебе по нраву... Кто ж такая? О ком мне нынче помолиться, кого почитать мне, верному твоему холопу, прикажешь?...

Ласки Морозова, его задушевный, дрожавший от волнения голос, мягкий блеск его глаз, словно даже затуманившихся слезами, подействовали на Алексея Михайловича. Он склонился к боярину и крепко поцеловал его.

– Что это ты говоришь такое, Иваныч? Я люблю тебя по-прежнему и никогда не изменюсь к тебе. Разве я забыл, что мне наказывал покойный батюшка?... Ты мне теперь заместо него, я тебя как отца почитаю... Только, право, нечего сказать тебе, сам я как в тумане, таково смутно на сердце... и словно устал я... уж и не знаю, что такое!... Оставь меня, Иваныч, дай заснуть, сам ведь сказывал – утром раньше встать...

Но боярин не мог так оставить своего воспитанника. Для него теперь решался вопрос жизни и смерти. Ему во что бы то ни стало нужно теперь все выведать и подготовить царя к завтрашнему выбору. Видя, что обиняками ничего нельзя добиться, он решился говорить прямо.

– Ну, что же ты скажешь, государь, про Марью Ильинишну Милославскую, какова девица? Или мы с отцом Стефаном неправду тебе сказывали, не хороша, что ли, она?

– Правду сказывали, – прошептал Алексей Михайлович, – совсем красавица, глядит так умильно, скромно... И самому мне, как взглянул я на нее, ведомо стало, что, должно быть, она девица добрая и кроткая.

Морозов так весь и впился в лицо царя.

– Да уж поистине лучше этой девицы и найти невозможно! – воскликнул он. – Значит, угадало мое сердце, значит, она тебе по нраву пришлась. Ах, если бы так, мне нечего было бы и тревожиться за тебя. Я бы знал, что ты сделал достойный выбор, что тебя ждет в доме твоём царском истинное счастье. Отгадал я, что ли? Скажи, золотой мой, скажи батюшка!...

Но Алексей Михайлович ничего не мог сказать ему, да вряд ли он и слышал слова его. Милославская вышла из его памяти, не о ней он думал.

«Зачем он меня мучает? – мелькало в голове его. – Не понять ему меня... Ох, ушел бы поскорее!...»

Он был уже раздет и вдруг склонился на подушки, прикрылся одеялом и махнул рукой боярину.

– Завтра, Борис Иваныч, оставь меня, спать хочется!...

Делать было нечего, Морозов подавил свою досаду и все же несколько успокоился. Он вышел из опочивальни и позвал спальника. Возвращаясь к себе, он думал:

«Авось так, авось все будет по-нашему, видно, он все же хорошо заметил Милославскую, коли так говорит о ней! А коли прямо не сказал, что выберет ее, так это от смущения. Молод больно, скромн, сам как девица-затворница, краснеет от каждого слова... стыдно ему признаться. О Господи! Да чего мне тревожиться. Не может быть иначе. Разве мы с попом мало его вразумляли, разве он когда был нам непослушен».

Между тем царь молодой и не думал спать. Лежал он с открытыми глазами, и блаженная улыбка мелькала на губах его.

«Сказать! – думалось ему. – Да разве могу я сказать? Не скажу я никому в мире... И что они пристали ко мне с Милославской! Зачем, зачем мне ее? Не надо!... Красива она, добра, скромна, доброй женой будет... они ее знают хорошо, и, конечно, она такая. Но та, разве... она не добра... разве не может доброй женой быть?... И разве на всем свете найдется другая краше ее, добрее, скромнее?! Боже мой, что это со мною?!»

Он закрыл глаза и снова во всех мельчайших подробностях предстало перед ним все, что было в сестрином тереме.

Вошел он туда нарочно вместе с музыкантами, чтобы его не узнали. Ему было неловко, стыдно; ему казалось, что все глядят на него и внутренне посмеиваются, хотя все окружавшие, по наказу Морозова, старались не обращать на него ни малейшего внимания.

Он подошел к низенькой двери ярко освещенного покоя, взглянул – разом бросились в глаза десятки молодых лиц женских. Лица все знакомые, но среди них шесть новых, никогда доселе еще им не виданных.

– Смотри, рядом с царевной Татьяной, в алом атласе, то Марья Ильинишна Милославская, – шепнул ему Морозов.

Он взглянул и увидел красавицу-девушку с роскошными формами, с нежным, прекрасным лицом и большими кроткими глазами.

«Хороша, – подумал он, – лучше всех сестер, лучше сестриных боярышень – хороша!»

Но не забилося в нем сердце при виде этой красавицы. Он спешил глазами дальше... Что это? В самом дальнем углу покоя еще одна незнакомая женская фигура. Ее голова опущена, виден только убор, низанный жемчугом. Но вдруг, словно перед бедой какой или радостью неожиданной-негаданной, забилося сердце Алексея Михайловича.

«Да подыми же, подыми голову!»— мысленно повторял он в непонятном страхе и непонятном блаженстве.

И она подняла голову, и встретились глаза их.

Ничего и никого с этого мгновения не видел он. Глядел – не мог наглядеться. И теперь он все понял.

Вот она, вот кого так долго, во все эти тревожные дни и ночи, с такой истомой и тоскою ждал он... вот та, что грезилась ему днем и ночью... вот кто являлся ему всюду и смущал и томил его. Она... она мешала ему жить, как жил он прежде. Без нее тосковал он среди забав своих любимых. Без нее тошно было глядеть ему на свет Божий. Она, ее ожидание, ее чудный образ мешал ему молиться!... Да, это она, он узнал ее!...

И он все глядел – все милее, все роднее она ему становилась. Ему хотелось плакать, хотелось смеяться. Еще миг – и он выбежал бы из среды музыкантов прямо к ней и бросился бы перед ней на колени и, плача и смеясь, целовал бы ее руки и ноги.

Но он удержался, он стоял неподвижно и только смотрел на нее. А потом, вернувшись в свою опочивальню, как святыню, как клад заветный, держал при себе все это новое, все это волшебное, что на него нахлынуло; он не сказал, не проговорился ни о чем своему пестуну. И теперь еще бессознательно повторял, стараясь рукою удержать биение своего сердца, которое так и стучало, так и стучало в сладкой истоме, то и дело повторял: «сказать! никогда никому не скажу!»

Но вдруг, среди самых счастливых и волшебных мечтаний, он приподнялся с подушки, на лице его мгновенно выразился ужас.

«А если она не полюбит меня?! Если я не буду никогда мил ей?! Что же тогда – смерть? Но нет, этого быть не может. Как же ей не полюбить меня, когда я так люблю ее, когда так чудно хороша она!...»

Он успокоился снова. Он вспомнил снова взгляд ее. Он не ошибся, она взглянула на него с той же любовью, с той же негой и

лаской, с какими и он смотрел на нее. Она его заметила, он был уверен в этом.

Завтра, завтра он ее опять увидит... и потом... Боже! нет, ни за что никому не отдаст он ее!



## XIV

Бывало, весною, после долгих дней завернувшего ненастья, вдруг расступятся во все стороны гонимые ветром тучи, ярко загорится солнце, высушит землю, и тепло и свет ворвутся в тихую, уединенную горенку Фимы. И вместе с этим солнцем ворвется в душу Фимы нежданная радость, восторг непонятный. И спешит она из домика на крыльцо, а оттуда в рощу. Бежит, как зверек резвый, вся сияя беззаветным счастьем. Не видит она, что далеко уж отбежала от дома; не видит, что кругом нее древесная чаща. И вдруг остановится она, очнется, глядит с изумлением и трепетом. Давно ли была она здесь, с трудом пробираясь по сухой прошлогодней траве и черным слежавшимся листьям, между белыми яркими пятнами тающего снега. Далеко тогда было видно кругом. Из-за черных голых деревьев видна была отсюда крыша усадьбы, а с другой стороны сельские избы. А теперь вот ничего уж не видно! заслонили и крышу родного дома, и сельские избы – нежные, бледные, зеленые ветки. Под ногами уж не шуршат сухие листья, а сочная трава поднимается, и горят на солнце белые подснежники, желтые «крестики». Иные деревья еще без листьев, но уже налились их темные ветки, уж прорываются бледные почки. А над головой, вверху, хлопотливо перелетая с места, на место, голосят веселые птицы.

Фима стоит как очарованная, и не смеет шелохнуться, боясь помять бархатистую травку, первый цветок нежный. Солнце так и горит, так и искрится, и почти что видно, почти слышно, как от лучей его растут и распускаются почки.

Вот с темно-коричневых назревших веток тополей понесло теплым смолистым запахом. Фима всей грудью жадно впитывает в себя этот запах, и он туманит ей голову и сердце. Что такое творится с нею – она не знает, но бесконечно ее счастье, и жизнь вся кажется такой волшебной, радостной.

И долго– долго стоит она в блаженном забытии, боится только одного – чтобы кто-нибудь не помешал ей, не вывел бы ее из этой сладкой дремоты...

Бывало, в конце лета, когда уже желтеет и клонится под тяжестью крупных зерен рожь высокая, а между стеблями ее выглядывают тысячи васильков, Фима в знойный полдень после долгого речного купанья бродит по узкой меже. Собирает она васильки и мак, устанет и ляжет, склонив к земле и примяв высокие колосья. Вокруг нее тихо, только шуршат ржаные усики, и со всех сторон стрекочут кузнечики. Высоко в темно-голубом небе плывут одно за другим облака. Прозрачный душистый зной пышет в лицо, и ей чудится, что каждый колос, каждая былинка, вся земля под нею знойно дышит. Мало-помалу что-то начинает ее убаюкивать, разбредутся мысли, и опять забытье блаженное на нее находит, и опять непонятная радость с тихой будто тоской, и опять она боится очнуться...

Бывало, темною зимнею ночью, среди сна спокойного, вдруг мелькнет какая-то неясная, бесформенная греза и принесет с собою это обаяние весны и лета, и шепчет что-то мучительно сладкое, несказанное. Проснется Фима, вся полна тревоги и блаженства, но нет ничего, напрасно зовет она снова мимолетную, мгновенную грезу – она не возвращается – и долго тоскует по ней Фима... Старая касимовская роща, желтая шумящая нива, ветхий полог ее девической постели, все это теперь так далеко... Кругом неведомые места, незнакомые люди, зима морозная, а ей чудится... весна, дни все ей чудятся ясные, песни... Весь зной летнего солнца, все грезы, все былое и сладкое. Вдруг нежданно вернулось – и принесло с собою столько блаженства, столько сладкой грусти и трепета, что никак не может очнуться Фима.

Давно покинула она терем царевен, домой вернулась, а все то же забытье, все тот же туман, та же волшебная сказка ее окружают. Безучастно и спокойно встречает она родных, едва слышит, что вокруг нее говорится, бессознательно отвечает на задаваемые ей вопросы. А расспрашивают ее со всех сторон, волнуются...

Тетка Куприянова таинственным и многозначительным шепотом объявляет, что она не раз слыхала, как в таких же случаях, когда царь выбирает невесту, он невидимкою высматривает привозимых во дворец девушек. Наверно и теперь царь видел Фиму, хоть и говорит она, что его не было в тереме.

Настасья Филипповна все крестится и шепчет молитву. Ей чего-то страшно и чувствует она всем сердцем, что готово совершиться для них

великое событие. Раф Родионович молча ходит по горнице. Трудно решить, что у него в мыслях и в сердце, только вид его такой важный, торжественный. Одна Пафнутьевна спокойна и радостна; опять она хитро ухмыляется в свой старый дрожащий кулак и сама себе бормочет:

– Да чего уж тут, дело видимое – быть Фимочке царицей, давно я про то ведаю!...

– Да что же мы ей про Митю-то не скажем?! – вдруг, выходя из своего раздумья, проговорил Раф Родионович. – Фима, слышь ты, выпустили ведь Митю-то; забегал сюда он с час тому будет времени, хотел все тебя дожидаться, да вот они его отослали... Оно точно, время позднее, а завтра спозаранку здесь он быть обещался...

– Митя! – проговорила Фима – и замолчала.

И все на нее изумленно взглянули, такое равнодушие слышалось в ее голосе.

Она не думала о Мите. Она не понимала даже, что это говорят о друге ее детства, о ее женихе, которому она обещалась еще недавно отдать всю жизнь свою. Как в чадую прошла она в опочивальню, разделась. Станный, внезапный сон, как после какой-нибудь особенной усталости, охватил ее.

И она заснула. На время расступились и отошли от нее все грезы, все волшебство дивной сказки, что въявь совершалась теперь над нею...

В большой изукрашенной палате государевой собралось немало бояр сановитых, которые получили приглашение присутствовать при долженствовавшем совершиться важном событии. Большинство бояр этих были очень не в духе. Их мечты и планы не осуществились. Не удалось им побороть Морозова, не выбраны их дочери и сродницы. Шепчутся бояре друг с другом, зорко озираясь во все стороны, чтобы не быть подслушанными. Бранят они всячески Бориса Ивановича и шлют ему такие пожелания, что если бы хоть малая доля из них могла сбыться, то пропал бы царский пестун и советник лютою и позорною смертью.

Но пока безвредна злоба боярская для Бориса Ивановича, только на сердце у него все же, как будто кошки скребут. Спозаранку он во дворце, не отходит от государя. И духовника притащил с собою. Твердят они оба Алексею Михайловичу все ту же сказку про жену добрую, про важность царского выбора, про красоту телесную и душевную Марьи Ильинишны Милославской.

А царь все отмалчивается; он их не слушает, он весь погружен в себя, никак не может справиться со своим волнением.

Страшный день, страшный час пришел. Прямо с постели почти бегом спешит он в Крестовую, бросается на колени перед иконостасом и жарко молится, со слезами и рыданиями. Давно он так не молился, всю душу свою детскую выливает он в эту молитву. А о чем молится, чего просит у Бога, за что благодарит Его, про то и сам не знает, только горяча и долга его молитва.

И, ободренный ею, он поднимается с лицом просветленным и ясным, вытирает свои слезы и спрашивает: все ли съехались, тут ли невесты?...

Невесты давно уже в палате царской, едва на ногах держатся от страха и ожидания. Бессонную ночь провели они, тоже молились немало и теперь стоят будто к смерти приговоренные, ожидая выхода государя.

Одна только Фима, как истукан какой, ничего не страшится, ничего не боится. После сна глубокого очнулась она освеженная.

Мысли ее прояснились, туман расплылся, и горько-горько она заплакала.

– Боже мой! – обливаясь слезами, шептала она. – Что же мне теперь делать? Видно, враг лютей; видно, сам дьявол обошел меня. Царь выбирать нас будет, может, меня выберет... а я что же это?... ведь жених у меня, Митя, а мне его и не жалко, хоть пропадай он... Со мною, во мне навеки остаюсь те глаза, что вчера на меня глядели. Чьи они? Не сам ли то дьявол, принявший лик ангела? Ну что коли и взаправду царь выберет?! Боже! да не могу я, не могу!... я убьюсь, я что ни на есть поделаю с собою...

И в отчаянии она ломала руки, рыдала как безумная. Ее обступили со всех сторон: мать, Пафнутьевна, тетка.

– Фима, что ты, родная?! Опомнись, голубка, пора ведь и одеваться, скоро во дворец ехать!...

Но она еще пуще заливалась слезами.

– Не могу, не могу, не стану одеваться, не поеду, хоть убейте на месте!...

Напрасно старались они ее уговорить, успокоить. Напрасно, сами в отчаянии, твердили ей, что нельзя сегодня так плакать, что глаза от слез покраснеют, лицо опухнет... Ничего не помогало.

Больше часу металась и рыдала Фима. Наконец, совсем измученную, кой-как успели нарядить ее и со страхом и трепетом во дворец отпустили.

И вот она опять с избранными царскими невестами, окруженная боярами, среди роскоши царской. Ее порыв прошел. Снова туман прежний наплывает на нее, но в тумане этом нет уже прежнего блаженства, только тоска лютая сосет ее сердце.

Все пропало, вся жизнь ее кончена, не взглянут на нее те глаза милые, которые взяли и унесли с собою ее душу. Она стоит безучастная ко всему и ко всем. Не глядит на подруг-красавиц, не замечает их волнения, не замечает со всех сторон обращенных на нее взоров.

А между тем все собравшиеся в палате глядят на нее и дивятся красоте ее неслыханной. Напрасно домашние боялись, что глаза покраснеют и лицо опухнет!

Ну что же, вот и видно, что глаза заплаканы, видно, что неладное что-то творится на душе у девушки, а все-таки и с заплаканными

глазами, с помертвевшим лицом она еще прекраснее, и нет сил от нее оторваться.

– Государь идет! Государь идет! – проносится вдруг по палате.

Невесты вздрагивают, как листочки осенние, а Фима и не слышит ничего. Машинально поднимает она глаза к дверям. И видит: выходят бояре важные, а между ними, в парчовой златотканой одежде, в дорогой, сверкающей камнями шапке сам государь, видно. Но лица его разглядеть она не может: он отвернулся. За ним вчерашний страшный боярин с черной бородой.

Тоска сильнее на душе у Фимы, и к тоске этой теперь примешивается злоба. Не может она видеть чернобородого боярина!

Это он, колдун проклятый, со вчерашнего утра так заморозил ее, он ее сглазил. Опускает она глаза свои в землю и никого уж не видит.

А мысли, одна за другою, вихрем мчатся в голове ее.

«Да нет, – думает она, – не ко мне подойдет царь, не меня выберет; меня, может, и не заметит совсем... Ну а коли подойдет ко мне, коли выберет?! Брошусь я ему в ноги и скажу ему: не бери меня, царь-батюшка, не буду любить тебя. Убью себя, коли силой возьмешь. После речей таких неужто не отойдет он?... а там, после, пусть будет что будет, заодно ведь уж пропадать-то...»

Алексей Михайлович остановился посреди палаты, ответил на всеобщий поклон.

– Вот она, вот Марья Ильинишна, – шепнул ему на ухо Морозов, подавая на серебряном блюде кольцо и ширинку.

Молодой царь дрожащей рукой взял кольцо, взял ширинку и несколько мгновений стоял не трогаясь с места. Вдруг он поднял глаза, щеки его вспыхнули стыдливым румянцем, и он быстро сделал несколько шагов по направлению к девушкам-невестам.

У Морозова так забилося сердце, что он даже за бок схватился. Как коршун, следит он за каждым движением своего воспитанника...

Что же это? что же царь не глядит на Милославскую, не глядит и на сестру ее, он глядит, не отрываясь, на другую...

Побледнел, похолодел весь Морозов – сразу все понял он. Закипело злобой и болью его сердце.

«Увести его! увести нельзя... но ведь нельзя же допускать... Ведь это гибель!» – мелькнуло в голове его.

Всесильный боярин опустил руки и стоял немой и пораженный.

А царь между тем остановился перед Фимой. Она была все так же неподвижна, все так же глядела в землю. Прошло несколько мгновений. Царь хотел говорить – не мог, только смотрел на красавицу, только любовался ею. Наконец он пересилил свое волнение. Его губы шевельнулись, и, подавая Фиме кольцо и ширинку, он шепнул ей:

– Тебя я выбираю, будь моею женою, будь царицей!...

Притихнувшая палата мгновенно будто вся дрогнула, все задвигались.

Фима отшатнулась, взглянула на царя, узнала его... Все лицо ее преобразилось. С выражением бесконечного счастья кинулась она было вперед, но у нее подкашивались ноги, и, если бы царь не поддержал ее, она наверно бы упала. Царь взял ее за руку. Все находившиеся в палате бросились поздравлять их. Но оба они ничего не видели, ничего не слышали. Они чувствовали только милое прикосновение и, пораженные своим неожиданным, великим счастьем, глядели друг на друга.

Нетвердою поступью подошел Морозов к жениху и невесте, поклонился им низким поклоном, поздравил с радостью.

Вдрогнула Фима и чуть не вскрикнула, когда взглянула на бледное, помертвевшее лицо его. Страшным, страшным казался ей этот колдун чернобородый.

И, действительно, он был страшен. Он чувствовал на себе глаза врагов и завистников, чувствовал все их злорадство. Ненависть и злоба душили его.

«Так не бывать же этому! – вдруг мысленно решил он. – Не бывать этому... Невеста царская не будет царицей!...»

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



Зимняя вьюга стучалась и жалобно выла в маленькие окна, изнутри плотно прикрытые шелковыми стегаными подушками. В углу небольшого покоя, у богатого киота, теплилась лампада. Посреди стоял тяжелый дубовый резной стол; за столом, почти у самой стены, обитой алым сукном и увешанной всяким оружием, виднелась широкая лавка, покрытая пушистым персидским ковром. На столе горела толстая восковая свеча в серебряном шандале немецкой работы. Тут же, рядом со свечой, стоял вычурный жбан с романеей и золоченая стопка. На лавке, примяв парчовые подушки, полулежал Борис Иванович Морозов. Слабый двойной свет свечи и лампады озарял его бледное лицо, еще более выделяя его мрачную красоту, которая произвела такое страшное впечатление на Фиму. Густые брови сдвинуты, на высоком лбу две-три редкие морщины, глаза закрыты. Но не спит боярин. Он время от времени медленно протягивает руку к столу, наливает стопку вина и залпом ее выпивает.

Все тихо в новом богатом доме вдовца боярина – только и слышатся заунывные взвизги вьюги.

«Хотя бы забыться!» – думается Морозову. Но даже и крепкая заморская романея в этот долгий, мучительный вечер не приносит обычного забвения. Темно и страшно на душе у боярина. Хмурый вернулся он из дворца к себе, строго-настрога приказал холопам никого не впускать, и весь вечер думает свои мучительные, черные думы. Одурачили его, вконец одурачили! И так все это вышло неожиданно-негаданно, словно бес подшутил – совсем глаза отвел ему. Касимовская бедная дворяночка посмеялась над ним, все его заветные планы разрушила, всю его силу в ничто обратила... Она царем выбрана, завтра царевной ее объявят; новые люди войдут в силу, а с ними вместе и их благодетель Пушкин... «Предатель Пушкин!» – почти вслух произнес боярин, и еще крепче сдвинулись его брови, и еще сумрачнее стало лицо его. – «Предатель, змея подколотная! И где это были глаза мои? Кто отнял у меня разум? Зачем я допустил его к государю, ведь видно было... а я, я на одного себя понадеялся, стыдно было испугаться этого червя негодного, а раздавить его вовремя не

пришло в голову... И вот теперь он уж и не червь – с ним ладят все Стрешневы... поднялись враги старые!...» Совсем было извел всех врагов этих Борис Иванович, а в конце концов они все же его и подсидели! Что теперь делать? За что уцепиться? И ведь не на кого плакаться, не на кого вину свалить – сам во всем виноват, сам себе вырыл яму, погибель приготовил... Дело-то ясно – все это, конечно, они заранее подстроили у него под носом, а он и не догадался... Царь весь день как в тумане, совсем заморозила его красота невесты, дело сделано...

– Да нет же, нет! – уже совсем громко крикнул Морозов, вскакивая с лавки и снова опорачивая стопку. – Невеста не жена еще, царевна не царица! Ведь не сейчас же свадьба, времени-то остается довольно, а нужный и надежный человек найдется.

И словно как в сказке, словно по шучьему велению, нужный и надежный человек уже был тут. Этот человек не первый день под разными личинами бродил вокруг Кремля, сходил с дворцового челядью, высматривал да выслушивал и доподлинно узнал все, что ему знать хотелось... Тихий, робкий стук раздался у запертой двери.

– Кто тут? – крикнул Морозов. – Ведь я сказал не впускать никого, чего там еще?...

Стук повторился. Боярин, весь дрожа от гнева, отпер дверь и увидел своего старого ключника.

– Чего тебе? Чего лезешь? Шутить, что ли, со мною задумал, собака?!

Он уже готов был ударить верного и испытанного раба своего, и раб уже спокойно ждал удара.

– Бей, боярин, – проговорил ключник, – только воля твоя, я тут ничего не мог поделаться!... Вот какой-то человек неведомый лезет, не дает покоя, говорит, что ты сам приказывал прийти ему, что его дожидаясь... Коли лжет он, мы его в минуту скрутим... видно, он о двух головах...

Морозов остановился.

– Это еще что такое? Никому ничего я не приказывал. Какой еще человек? Веди его – что за притча?!

Через минуту на пороге слабо освещенной комнаты показалась рослая, плотная фигура. Морозов взглянул – человек ему неведомый, только все же что-то как будто знакомое есть в этом толстом красном

лице. Какое-то далекое и неясное воспоминание промелькнуло перед боярином.

– Кто ты? Чего тебе от меня надо? – спросил он.

Неизвестный человек быстро затворил за собою двери и упал Морозову в ноги.

– Не гневись, великий боярин, выслушай... Кто я, тебе и знать нечего, не во мне дело. А коли вспомнишь давнишнее времечко, годы свои молодые, Настю из слободы стрелецкой, так и меня вспомнишь...

Боярин отступил, пристально взгляделся в человека, все еще стоявшего перед ним на коленях.

– Яшка! так это ты?! – проговорил он, и что-то дрогнуло в его голосе.

Он действительно вспомнил свои молодые годы, вспомнил Настю из слободы стрелецкой, Настю – красавицу и скромницу, сиротку, жившую у одного стрельца-пятидесятника. Вспомнил он, как за несколько рублевиков да за шубу с плеча боярского выкрал ему эту Настасью холоп Яшка, и как он же потом ее и спровадил неведомо куда, когда молодому боярину прискучила красота ее, ее неосушимые слезы. Опять мрачно насупились густые брови боярина – неприятное то было воспоминание.

– Чего же тебе нужно, холоп? – сказал он. – Служил ты мне, я платил тебе за твою службу – ну и все тут. А ты теперь, после стольких-то лет лезешь ко мне, ложью слуг моих одурачиваешь. Вон! не то, гляди, шкурой поплатишься за свою дерзость неслыханную! Я до озорства не охотник...

Но холоп Яшка не смутился от грозных речей боярина. Он продолжал стоять неподвижно на коленях.

– Новую службу могу сослужить тебе, боярин, – твердым и решительным голосом проговорил он, – и немалая та, видно, служба, коли я всякой неправдой дошел до тебя – выслушай только...

Морозов на мгновение остановился. Холоп поднялся на ноги и, прямо глядя в глаза всесильному боярину, выговорил:

– Ноне государь Алексей Михайлович выбрал себе в невесты девицу Ефимью Всеволодскую. Она из Касимова – и я из Касимова. Давно знаю отца ее, он враг мне лютый... и даже теперь вот, по его наговорам, великий государь приказал отыскать меня. Казни я жду

себе – так вели же схватить меня, боярин, бить батогами нещадно и казнить лютою смертью.

Но Морозов стоял неподвижно, он сразу все сообразил.

Нужный человек, о котором он думал несколько минут тому назад, нашелся. Сама судьба посылает ему этого помощника, этого врага старика Всеволодского, холопа Яшку, смелость которого ему давно и хорошо известна. Яшка хитер, ловок, не остановится ни перед каким преступлением... Яшку разыскивают по приказу государя, а он вот сам пришел к нему, ближнему государеву боярину. Именно такого-то человека ему теперь и надобно. Только ему и можно поручить великое и тайное дело. Яшка отвечает своею головою... для себя будет работать...

И все эти мысли ясно прочел Яков Осина в черных глазах боярина.

– Говори дальше, я слушаю, – шепнул Морозов, присаживаясь на лавку.

– А и весь сказ мой таков будет, – почтительно, тихим и уверенным голосом начал Осина. – Не добро великому государю сочетаться браком с сей дочерью Рафа Всеволодского, ибо один обман тут и гибель царская. Девица сия сыздетства испорчена.

– Как испорчена? – вскрикнул Морозов. – Неужто правда?

Осина усмехнулся и покачал головою.

– Эх, боярин, вестимо испорчена, да вишь ты, про порчу-то ту я один только знаю, и коли ты прикроешь меня от врагов моих, мы с тобою надумаем, как это дело устроить...

Морозов подошел к двери, запер ее на ключ, сам налил и подал стопку с романею Якову Осине.

И началась у них оживленная беседа, и длилась та беседа до глухой полночи. А расстались они, хорошо сговорившись друг с другом... Просветлело мрачное лицо боярина, да и приказчик Осина, выбравшись из его дома, имел вид человека, держащего в руках верную и богатую добычу.

## II

Тем же самым темным зимним вечером одиноко сидел Дмитрий Суханов в грязной горенке заезжего двора. Сильно изменился он за последнее время, будто постарел годов на десять. Лицо бледное, осунувшееся, под глазами крути темные; сидит он словно в забытьи, и тоска неотвязная сосет ему сердце.

«За что все это? Жизнь была такая тихая, светлая – и вдруг, будто буря налетела, все разметала, все перевернула и ничего-то, как есть ничего прежнего не осталось... Ведь последние деньки только и оставалось повидаться с Фимой, – отчаянно думает он, – хоть всласть наглядеться на нее перед вечной разлукой. Но даже и тут опять незадача!... Схватили его, бесталанного, потащили в избу губную да и засадили на несколько дней вместе с ворами всякими и разбойниками. Что это за дни такие были! Кругом грязь, смрад, мерзость всякая; богохульные и непотребные речи раздаются; голод, холод... По несколько раз на день таскают, задают вопросы разные, к делу не идущие, вынуждают ответы несообразные, пугают пыткой, казнью. Люди то, али звери, али совсем малоумные, которых на цепь да за железную решетку посадить надо? Таким ли безбожным жестокосердием судей неразумных правда явной становится, дела худые да грех смертный наружу выступают?!»

И не знал бедный Дмитрий – долго ли такая пытка продлится, когда придет избавление. До него никого не допускали. Не знал он, что Пров целые дни около избы торчит, как верная собака. Не знал он, что за него просит царя Раф Родионович.

Наконец пришло избавление по указу царскому. Выпущен Суханов. Пров с радостными слезами кидается к нему навстречу; но Дмитрий почти не замечает своего преданного дядьку, он торопится скорее к Всеволодским. Ведь чуть с ума не сошел, думая о Фиме и обо всем, что там творится. Жадно спрашивает он Прова, но тот ничего путного сказать не может. Не думал он о Фиме, когда бегал к Рафу Родионовичу, думал только об избавлении своего господина. Наконец Дмитрий и у Всеволодских. Фимы нет, она во дворце, их судьба решается.

– Господи! да когда же, когда она вернется? Дождусь ли ее? – отчаянно спрашивает он Настасью Филипповну.

Но та на него поглядывает как-то робко и смущенно.

– Вот что, Митенька, ты бы теперь, голубчик, к себе отправился, время-то уж позднее. Негоже как-то, того и жди – невесть что говорить про нас будут. Теперь уж как опасно. Знамо дело, ничего дурного нету, а коли, не ровен час, обнесут каким злым словом Фимочку, так ведь и ей, и нам всем сущая погибель... Так уж ты, Митенька, потерпи до завтра... не в обиду я это говорю тебе, а что делать-то, родной мой, понимаю я, как тебе горько оно... да нечего тут... не мы тому виною, так уж, знать, сам Господь... судьба такая. Ну, да ведь и то сказать надо, неведомо еще, что завтра-то случится: может Фима и ни с чем от царя вернуться, тогда на твоей улице праздник, а нынче-то не взыщи на нас, сам понимаешь!...

И жалко – то Настасье Филипповне Митю, и неловко как-то ей перед ним, и досадно ей, что он нежданно-негаданно поперек дороги им встал.

– Ну чего торчит, право? – шепчет, сидя в уголку, Пафнутьевна.

– Право, прости Господи, его еще день-другой там продержали бы, а то, как назло, в такое время выпустили, тошно глядеть на него, да и Фиму, того и жди, смутит он...

Раф Родионович молчит, лицо у него хмурое, не в духе он, глаз не может поднять на Митю, будто виноват перед ним.

«Да виноват ли? – думается ему. – Приезжай Пушкин неделей позже, была бы решена как следует свадьба, ну, дело другое, а то, как тут отказать было?! Погубить и себя, и семью. Ведь не через меня про Фиму узнали, отец Никола проболтался. Ну а в указе государевом прямо сказано, что кто будет девку утаивать да откажет на Москву везти, „того бить батоги нещадно“. Да опять вот и теперь, ведь из двадцати десятков красавиц в числе шести она выбрана. Может, в самую минуту эту, там, во дворце, государь ее видит, может... Только нет, Господи, и к чему эти мысли опять в голову приходят... не надо их... не о том я помышлять должен... Фима моя, Фима, дочка любимая!... А кабы и свершилось оно... было ли бы еще ей счастье? Может, горе одно, может, ее жалеючи, об одном и надо молить Бога, чтоб того не совершилось, чтоб вернулась она к нам, в тишину нашу и бедность... хорошо бы зажила она с Митей, а мы бы, старые, на них

радовались... И отчего это так тяжело на сердце, словно перед бедою? Уж и впрямь не беда ли... Создатель, не оставь нас!... А все же Мите нельзя быть до решения. Завистников много, оклеветают... Ох, что-то будет?!»

Раф Родионович присоединился к Настасье Филипповне и уговаривал Митю дождаться следующего утра, а теперь идти домой с Богом да хорошенько выспаться, а пуще всего не унывать духом.

Грустно вздохнул Дмитрий, с невольным упреком взглянул он на старых друзей своих, которых всегда так почитал и которые теперь его покинули в такое тяжелое время. Уныло вышел он из дома Куприяновой и поплелся к себе. Что-то странное и непонятное происходило в душе его, и если бы кто спросил у него, чего он ждет, осталась ли в нем надежда или он знает, что судьба навеки разлучила его с Фимой – он не мог бы ничего на это ответить. Он как-то даже и не думал о том, что будет завтра. Он просто тоскливо ждал, и безумно хотелось ему увидеть Фиму.

После бессонной мучительной ночи отправился он опять к Всеволодским. Отправился рано, с намерением у ворот дождаться, взглянуть, как повезут Фиму во дворец. И он дождался, увидел, как сошла она с крыльца, как ее посадили в колымагу. Он едва не бросился вслед за нею, едва не закричал от тоски и боли. Он вошел в дом Куприяновой и сразу почувствовал, что всем, еще более чем вчера, неловко в его присутствии, что он здесь совсем лишний. А между тем у него сил не хватало уйти. По счастью, Андрей был дома, и хотя, занятый своим собственным горем, он не мог теперь думать о чужом горе, но все же немного разогнал его мысли, рассказывая о своей бедо-кручине. Однако Дмитрий, внимательно его слушая, все же не понимал его, ему странно казалось, что есть на свете чья-нибудь тоска, кроме его тоски, чье-нибудь горе, кроме его горя.

Между тем время шло... Вдруг Дмитрию показалось, что как-то особенно забежали в доме, на крыльцо все кинулись. Кинулся и он вслед за другими, но что это было такое – он сообразить не мог... Поднялись вопли, но не вопли горя, а всеобщей радости. Раф Родионович обнимался с женой, с Куприяновой, даже с Пафнутьевной.

Как сквозь сон расслышал Дмитрий: «Царь выбрал Фиму, она не вернется больше, она во дворце осталась, она уже царица!...» Он стоял, прислонясь к стене и опустив руки; лицо его было

бессмысленно, в голове не было ни одной мысли, сердце как будто перестало биться. Очнувшись немного, он увидел, что перед ним Раф Родионович с Настасьей Филипповной. Оба они торжественно и степенно ему поклонились в пояс.

– Дмитрий Исаич, – начал старик Всеволодский дрожащим голосом, – великое счастье выпало нам на долю, государь ныне избрал себе в супруги дочь нашу Ефимью. Такова воля Господня. Смирись и ты перед Его волею... Не взыщи на нас, без вины виноваты мы. Любили мы тебя сызмальства, как сына родного – сам знаешь, не того ожидали. А теперь, коли точно ты добрый человек, забудь бывшее, словно никогда его и не было, а мы тебе, как и всегда, одного добра желаем. А коли что можем для тебя, видит Бог, скажи только слово – все готовы сделать...

– Да уж не взыщи, Митенька, – сквозь слезы проговорила и Настасья Филипповна. – Невесту ты себе найдешь по сердцу; молод ты, Митя, а тут, что уж...

Она не договорила. Дмитрий взглянул на них, и они оба, эти добрые люди, показались ему кровными врагами, показались отвратительными. Но он не сказал им ни слова, он только махнул рукою и кинулся вон из дому. За ним побежал Андрей, и хорошо сделал.

В первую минуту, в припадке почти безумия, Дмитрий, может быть, Бог знает чего наделал бы с собою. Андрей крепко держал его за руку, привел в заезжий двор и начал его уговаривать. Но чем он мог его успокоить?!

– Оставь меня, Андрей, – проговорил наконец Суханов. – Оставь, никого теперь не могу видеть!

– Да как тебя такого оставить? Ведь ты на себя руки наложишь, ведь точно порченный, на тебе лица нету...

– Оставь, ничего я с собою не сделаю, только уйди, только не мучь меня, не могу тебя видеть. Потом... завтра... оставь меня... – пробормотал Дмитрий.

Андрей вышел, но остался тут же, в соседней горенке, боясь, чтобы друг его не погубил свою душу.

Дмитрий сидел неподвижно; ему казалось, что он уже умер и что кругом его ничего нету – одно пустое пространство, один мрак



непроглядный. Но вдруг из этого мрака ярко выделялась какая-нибудь минута прошлого, их общей жизни с Фимой.

Вот вспомнилась ему она еще ребенком... он едет к ним в усадьбу... знойный день... пылит и громыкает по дороге его таратайка... Поле уж позади осталось, он въезжает в рощу, и ему навстречу, мелькая меж зелеными кустами, спешит Фима. Коса ее расплелась, на голове веночек из васильков, загорелые щеки пылают от зноя. Она весело смеется.

– Подсади меня, Митя, умаялась больно, всю рощу обегала. Глянь-ка!...

Она показывает ему кузовок, верхом полный темно-красными душистыми ягодами лесной малины. Он подсаживает ее в таратайку, хлещет своего гнедка и лихо подкатывает к усадьбе. А Фима все смеется. И у него на душе становится ясно и весело от этого ее звонкого, беззаботного смеха...

Потом... потом недавно, после нападения Осины, в его доме, эти тихие, блаженные дни, эта поездка с Фимой, их любовь, счастье, что как сон мгновенный мелькнуло и пропало...

Как ужаленный вскакивает Дмитрий и начинает рыдать и метаться.

«Да чего же я, ведь я знал, ведь я знал все заранее, еще перед отъездом в Москву. И разве я тогда не сказал ей, что не отойду от нее, что буду охранять ее от всякой беды, от тайного лиха?! Так чего же я?! Моя жизнь – она кончена, да... я умер навеки; но ведь она-то еще жива, и я должен сдержать свою великую клятву!...»

Что-то могучее, отрадное вырастает для него из этой мысли. Но это только миг один – и опять тоска, опять отчаяние. И вместе с этой тоской, вместе с отчаянием, полное бессилие...

Вошел Пров.

– Батюшка, Митрий Исаич, опомнись, Христа ради, не гневи ты Господа Бога, с кем горе не случается, да и кто того горя не забывает! Придут еще наши красные деньки, проживем еще, порадуетесь... Так-то, государь мой батюшка, Митрий Исаич... Тряхни-ка головкой – ведь и горя-то всего с полгоря...

Ничего нового, ничего особенно успокаивающего не заключали в себе слова Прова, но он сумел их сказать с такой лаской, что Дмитрий

бросился к нему и, как малый ребенок, тихо и долго плакал на груди его.

– А я с весточкой, – сказал Пров, когда заметил, что волнение юноши несколько стихает. Он инстинктивно понимал, что всего лучше теперь навести на новый предмет мысли Дмитрия.

– Как бы ты думал, Митрий Исаич, кого я ноне подкараулил?... Ну-ка скажи, отгадай! Кого бы? Да того самого злодея Осину! Вот-те Христос, его самого видел!...

– Что ты? Где? – внезапно востепенувшись, спросил Суханов.

– Да недалече от Кремля. Сначала я было думал, обознался, да потом гляжу, нет – он! не кто иной, как он! Пошел я за ним следом и знаю теперь, где и в каком доме он прячется. Полагаю так, опять недоброе затевает, и нам нужно его выследить; нынче поздно было, а завтра чуть свет отправлюсь-ка я к тому дому и разузнаю, все разузнаю.

– Да, да, конечно, сходи, – проговорил Дмитрий уже несколько оживленным голосом, – нельзя же ведь так оставлять разбойника, пока он не в надежном месте, от него того и жди новых напастей...

На том и порешили.

### III

В слободе Стрелецкой, на самом выезде, притаился маленький домик. Домик этот принадлежал Михаилу Иванову, крестьянину боярина Никиты Ивановича Романова. Каким образом Михаил Иванов первоначально разжился, никому не было известно. Поговаривали, что он клад нашел где-то либо грабил кого-то на большой дороге, а доподлинно ничего не знали. Одно только и было очевидно – это что у «Мишки» дела идут самым лучшим образом. Обзавелся он и домиком, и огородом; держит работницу, старуху немую, которая на все расспросы только знает, что мычит да дико поводит своими косыми глазами. Стрельцы и их жены частенько заглядывают к Мишке. У него, вишь, всегда можно выгодно купить какую-нибудь вещь хорошую, с его помощью можно устроить какую угодно сделку, на все руки Мишка.

Но продажа случайных, а вернее того, краденых вещей далеко не единственное его занятие; у него совсем другой промысел, промысел тайный и выгодный: Мишка – знахарь, да и какой еще! – всех знахарок в Москве за пояс заткнул. Они со злости и досады лопнуть готовы, как только про него вспомнят. Мужик молодой, ражий, а у старых баб хлеб отбивать вздумал!

Но Мишка ровно никакого внимания не обращает на вражду знахарок. С каждым годом растет и растет его известность, а с нею вместе и его достояние; видимо-невидимо всякого люду, начиная с важных бояр и боярынь и кончая их холопами, с ним знакомство ведут. И к себе на дом его зазывают, и к нему тайным образом под вечерок наведываются.

Все он может, все умеет, всякое ведовство, всякая ворожба ему знаемы. Приключится ли с ребенком родимчик, али во рту жаба, он только побормочет что-то, обольет ребенка водицей, настоя травного даст ему выпить, не успеют оглянуться – всякая хворость проходит. Обижен ли кто, напраслину ли несет человек безвинный – только посоветуется с ним, заплатит ему щедро, он поворожит и – смотришь – дело-то разъяснилось: обиженный человек свою правду доказал перед добрыми людьми, от бесчестья избавлен. Случится ли где покража, и в

таком деле, как ни бейся, а тоже без Мишки обойтись невозможно. Он и вора укажет, и научит, где отыскать вещь украденную; а то и так бывает, что по слову его, как по щучьему велению, пропащее добро само собою вдруг опять у хозяина окажется... Да и разве только это! – много и других чудес разных творит знахарь Мишка.

Вот темным вечерком, вся закутанная, боязливо озираясь и прячась от людского глаза, пробирается к нему в домик молодлица. Дрожащей рукою стучит она в калитку. Выходит к ней баба немая, сказать ничего не может, а только рычит, словно зверь лютый. Совсем уходит душа в пятки у молодлицы, но она подавляет свой ужас, едва слышным голосом спрашивает: «дома ли хозяин?» Старуха грубым движением схватывает прибывшую за плечи и вталкивает ее в маленький дворик, а уж оттуда в темные сени. Старая немая баба исчезает. Молодлица ни жива ни мертва стоит в сенях, в темноте кромешной. Вдруг дверь перед нею отворяется, и приветливый голос Михаила Иванова говорит ей – Милости просим!

Она входит в светелку и переводит дух. Светелка довольно чисто прибрана, никаких в ней нет ужасов, да и сам знахарь-то молодец молодцом: рослый, румяный да чернобородый, глаза такие зоркие, речи умильные, ласковые, так прямо в душу и просятся.

– Чем твоему горю пособить могу? – вкрадчиво спрашивает он прибывшую.

Но та долго молчит, слов не находит, только робко поглядывает на красавца-знахаря. Он усаживает ее на лавку и спокойно ждет. Наконец молодлица мало-помалу оправляется. Взволнованным голосом, часто прерываемым рыданиями, начинает она рассказ свой. Рассказ этот такого рода.

У молодлицы, вот уже несколько лет, муж да деточки малые; с мужем жила она любовно, по заповеди Божьей, и ничего дурного у них в семье не случилось – одно слово: тишь да гладь да Божья благодать – соседям на зависть и удивление. Только вдруг, около зимнего Никола, и нагрянула беда неведомо откуда. Стал муж чаще и чаще отбиваться от дома, совсем не тот, что прежде, сделался. Не ласкает больше ни жены, ни ребят малых, ровно чужой в доме, серчать начал, да зря все, без всякой причины. Что ни день, то бьет он ее, горемычную, бьет чем попало и ругательски ругается. И так-то идет у них – что ни день, то хуже. Совсем нет житья ей, слезы все выплакала. Думала, думала –

откуда ей такое горе пришло, а вот старая тетка, спасибо ей, и надоумила: «Видно, говорит, у Парамона Петровича зазноба какая завелась, лиходейка тебе, змея подколотная сказала!»... В таком горе лютом, в такой обиде несносной и пришла она к нему, знахарю, – он, говорят, все может, авось и в ее деле помощь ей окажет.

При словах этих вынимает молодица свои дары. Зорко посматривает Мишка на добро принесенное, взвешивает его цену. Подумав хорошенько, так начинает он ответ держать молодице:

– Твоему делу, красавица, пособить я могу, дело нетрудное!...

У нее дух замирает от ожидания и надежды. Колдун подходит к печурке, вынимает оттуда что-то завернутое в тряпицу и подает молодой жене...

– Вот тебе соль, – говорит он, – соль та не простая. Возьми-ка ты ее и храни крепко-накрепко, а придет ночь, станешь ты спать ложиться, возьми в ту пору эту соль, потри себя ею, только как будешь тереть-то, так приговаривай: «Как не могу я без своего живота быть, так и он (мужнино ты имя назови) не моги без меня жить, питьем меня не запивай, едой не заедай, гульбой не загуливай и сном не засыпай; не моги часу часовать, минуты миновать и на ветху, и на молоду, аминь». Повтори ты слова эти три раза и так делай три ночи кряду, а потом ту соль и всыпь мужу в похлебку. Как поест он, так опять к тебе и вернется, всякую зазнобу свою забудет.

Молодица начинает твердить слова волшебные и, вытвердив их наизусть, с глубокими поклонами и причитаниями уходит от Мишки. Спешит она, полная веры, к себе домой и все твердит: «Как не могу я без своего живота быть...»

Три ночи докрасна натирается она заговоренной солью... Все дни сама не своя ходит, то краснея, то бледнея, как преступница. С сердечным замиранием всыпает соль в похлебку, а когда муж ест – так она не смеет и взглянуть на него, перекреститься хочет, да вовремя одумается, знает: дело-то нечистое, колдовское – крест святой весь заговор уничтожит...

Ну а потом что-нибудь да случится: либо муж за ум возьмется, перестанет жену бить напрасно, перестанет гулять да пьянствовать, либо вконец забьет ее.

Но что бы ни случилось, хоть в гроб уложи муж жену неповинную, а славе Мишки-знахаря ущербу все же не будет. Ведь в

таком деле нужно быть очень осторожным, может, одно слово не так сказала, вот и потеряла ворожба свою силу, колдун тут, знамо дело, ни при чем, не его вина.

Приходили к Мишке-знахарю и со двора государева разные люди, просили его помощи: как царский гнев обратить на милость, как получить расположение людей нужных и сильных... Мишка ни от чего не отказывался, все по плечу ему было, и жил он весело, в свое полное удовольствие. Не одна молодлица, придя к нему за советами, в конце концов пленялась его красотой румяною, его речами хитрыми да умильными, и потом уж не за советами, а за весельем к нему возвращалась. Много могла бы порассказать Мишкина старуха, кабы язык ее слушался. У Мишки было немало приятелей, старых товарищей, которые являлись откуда-то издалека и по большей части хоронились от света дневного да от глаза людского. Он тех приятелей, тоже не даром, конечно, в домике своем укрывал, из бед выручал всяких. Одно слово, колдун был и на эти дела опасные...

## IV

Яков Осина, выйдя от боярина Морозова темною ночью, не обращал никакого внимания на метель и вьюгу и скорым шагом, порою чуть не по колена уходя в снежные сугробы, спешил по московским улицам и переулкам. Перебрался он через Москву-реку, очутился в слободе Стрелецкой и наконец благополучно добрался до домика Михайлы Иванова. Три раза ударил он в ворота и свистнул. Сам хозяин отворил ему и ввел в светлицу.

– Ишь ты, полуночник, – ворчал Мишка, – а я уж думал, совсем не вернешься, думал тебя сцапали... Где шатался?

Осина скинул свой овчинный тулуп, пообчистился от снега, подошел к Мишке и весело хлопнул его по плечу тяжелой рукой.

– Не ворчи ты, красная рожа, – ухмыляясь сказал он, – еще, може, и не родился тот человек, который меня сцапает! Дело я ноне сделал, вот что! Не шатался, не слонялся, а у нашего Морозова по сю пору в боярских его хоромах за хозяйской романеей просидел, вот оно что! Ну, брат, раскрывай карман, и на твою долю немало рублевиков выпадет. Понагреемся, а я и животы свои спасу, да и сердце облегчу немало... Дело ух какое! Золотое дело!

Мишка повозился у печки, высек огня, поставил на стол зажженную лучину и сел на лавке вместе с Яковым.

– Да уж коли с Морозовым поладил, дело настоящее; от этого обмана не будет, я его не впервые знаю, он нашим братом не гнушается, и коли верно служить ему, так не обидит. Говори-ка, Осинушка, что у вас такое? На какого зверя охота будет? Кажись, намедни ты болтал что-то, да я не вслушался.

Осина начал передавать колдуну подробности своего дела, часть которого, впрочем, была тому уже известна. Мишка внимательно слушал и наконец проговорил:

– А без меня тебе тут никак обойтись невозможно!

– Я и сам про то знаю. Так и боярину докладывал, что мы с тобою сообща орудовать будем.

– Что же, это, пожалуй, можно, – опять, подумавши, проговорил Мишка. – Только надо нам будет одну тут бабенку проведать, без нее и

мы с тобой, старые волки, ровнехонько ничего не поделаем. Ты, может, думаешь, что я, как в лесных скитах таился, так и взаправду колдовствам разным и чертовщине, прости Господи, выучился?! Невелика, брат, моя чертовщина! Только баб да дураков тою чертовщиной морочить можно; мы же с тобой не таковские, самого черта заткнем за пояс; так что нам в этой чертовщине. А испортить девку, в гроб вогнать, это и без ведовства можно, дело немудреное...

– Стой, что ты? – вдруг перебил Осина. – Али ты не расслышал? Зачем в гроб вгонять, не того мне надо! Я тебе, брат Мишка, как на духу всю душу выложил, говорю, не жизнь мне, пока не сорву обиду с того Рафа, а девку нужно только пустить за порченную, а потом она и мне пригодится. Эх! Да ты и не видал еще такой девки!

Мишка сидел да усмехался.

– Прыток больно, Яшка, как посмотрю; видно, седина в бороду, а бес в ребро! Ну да ладно, и без порчи обойдемся, только бабу все же нам нужно. Есть у меня такая на примете, вдовица честная, Манкой Харитоновой прозывается, второй год ее знаю... Не наша, не из крестьянства, подымай выше! Муж-то ейный из дворянских детей был, а сама она до сей поры во дворце служит, в постельницах там была у покойной царицы, немало добра всякого из дворца вынесла; баба, говорю я, шустрая, себя не забывает... а ноне ей дела особенного пока не положено, только живет она все же в Кисловке и кормы царские получает. Не больно молода, да из себя красивая, одно слово, бес баба. Хитрости в ней этой, и не сочтешь. Ну вот, как ни ловка, как ни шустра, а все же баба, и полюбился ей хоть бы наш брат... И частенько она ко мне заглядывает, по одному моему слову на всякое дело пойдет, к тому же и до денег жадна больно.

– А коли выдаст? – опасливо спросил Яков Осина.

– Да что же, на ветер я лаять стану? Шкуры мне своей не жаль, что ли? Уж коли я говорю что, значит, знаю... Завалимся-ка, брат, спать теперь, а завтра пораньше в Кисловку, сам увидишь, какая баба, она нас вокруг пальца обведет. Да нет, что тут толковать! Без нее никак в этом деле обойтись невозможно. Она все ходы во дворце знает, всякие тамошние порядки да свычай...

– Ну, коли так, ин ладно! – проговорил Осина. – Только бы поскорее все это, мешкать-то часу нельзя, день пропустим, все



пропало, и Морозов наш пропал, и мы пропали. А уж мне тогда что же? Только руки на себя наложить останется...

Мишка затушил лучину, оба они, раздевшись, завалились на полати.

Возле Никитского девичьего монастыря, между улицами Никитской и Смоленской, которая впоследствии названа Воздвиженской, помещалась царицына слобода Кисловка. Еще с XV века здесь обыкновенно жили служители и служительницы великих княгинь московских, а потом и цариц – люди младшего царицына женского и мужского чина, то есть: постельницы, мастерицы, мастеровые люди, дети боярские и так далее. Кисловка занимала большую улицу и пять переулков; строения здесь, как и почти во всей тогдашней Москве, были очень скучены и представлялись однообразным темным рядом высоких изб с маленькими оконцами. Дворов было больше сотни и каждый занимал пространство от 4–6 сажень. Владелец двора в случае отставки – выбытия из чина свозил обыкновенно свои хоромы, а то продавал их тому, кто заступал его место. Случалось и так, что двор отдавался жильцам за плату по три алтына и две деньги с сажени. Своим внутренним устройством Кисловка разнилась от других Московских слобод. В ней не было ни старосты, ни сотского, ни десятских; она управлялась приказом царицыной мастерской палаты, откуда в нее назначался особый управитель-приказчик из детей боярских. Такому приказчику выдавалась «Наказная память», то есть инструкция, в которой говорилось, что он ставится над детьми боярскими и всяких чинов людьми, проживающими в Кисловке своими дворами. Ему поручалось наблюдать, чтобы слободские жители «вином и табаком не торговали, корчем не заводили, никакого воровства ни чинили, приезжих и пришлых всяких чинов людей, не сродичей, к себе во дворы никого не принимали и из дворов своих на улицу всякого помету не метали, а винопродавцев, и питухов, и корчемников, и воровских людей приводили бы в Приказ царицыной мастерской палаты к дворецкому и дьякам. А буде их оплошкою и нерадением что объявится, и учинится великому государю ведомо мимо их, и им, приказчикам, за то быти в опале и в жестоком наказанье безо всякой пощады».

Для того чтобы приказчики могли в точности исполнять такие указы и охранять слободу от всяких воровских людей, Кисловка в

конце четырех своих переулков была заставлена решетками, а пятая улица с переулком наглухо загорожена бревнами. В середине решетки, для проезда, была устроена широкая брусная калитка; днем она отворялась, а на ночь задвигалась железными замками. У каждой решетки была поставлена сторожевая изба, в которой жил решеточный сторож, рачительно наблюдавший за порядком в своем участке. Решетки Кисловской слободы по своему местоположению носили следующие названия: Воздвиженская, Никитская, Ивановская – название четвертой не дошло до нас.

Такое устройство царицыной слободы делало ее образцовой относительно порядка, и она в этом отношении не имела ничего общего с остальными частями города. Но если в ней и царствовало постоянное спокойствие, если на улице не слышно было ни криков, ни драки, не валялись пьяные, если случаи воровства и разбоя были редки, то жители Кисловки все же находили возможность зачастую отравлять спокойствие этого заветного уголка всякими тайными недобрыми делами. Иногда бывало и так, что они, даже безо всякой вины со своей стороны, подвергались различным невздам. Редкий год проходил без того, чтобы в Кисловке не производилось какого-нибудь строжайшего следствия, не исполнялась казнь над кем-нибудь из ее жителей, а преимущественно жителями.

Двор русских царей того времени пуще всего на свете боялся одного призрака и в то же время всюду искал его. Призрак этот был – порча, отравы, ворожба всякого рода, направляемая якобы на кого-либо из членов царского семейства и их приближенных. Мы уже видели, с какими предосторожностями царь принимал пищу и питье и одевался; те же самые предосторожности принимались и в отношении царицы, царевичей и царевен. Кажется, трудно было бы при всем этом допустить возможность какой-нибудь беды; но, с одной стороны, у страха глаза велики и беду искали и видели там, где ее вовсе не было, с другой стороны, призрак порчи давал возможность всяким недобросовестным и злым людям пользоваться им для своих собственных целей. Призрак порчи делался орудием мести, самым легким и безопасным орудием.

Придет какая-нибудь верховая боярыня, а то и прислужница из низшего разряда и доносит царице, что у них «на Верху неладно,

такая-то, мол, злоумышляет против царского здоровья – след вынимает, зелье разное при себе держит».

Царица пугается, в свою очередь спешит доложить царю о такой опасности.

И вот начинается сыскное дело. Призывается царицын дьяк, и поручается ему хорошенько расспросить злоумышленницу. Схватывают несчастную женщину. Она теряется от страха, наговаривает на своих товарок, и вся Кисловка приводится в движение – во всех дворах обыски. Открывается целый ряд невероятных для нашего времени отношений, поступков и понятий, выходят на сцену разные знахарки, колдуньи и колдуны вроде Мишки Иванова. Доподлинно делается известно, что такая-то Степанида или Катерина носит с собою в Верх мышьяк, что мышьяк тот получила она от знахарки Окулины; со знахаркою познакомилась-де ее тетка Пелагея – и так далее...

Потом мышьяк оказывается вовсе не мышьяком, а просто солью, невинным приворотным зельем, необходимым для возвращения любви мужа или возлюбленного. А между тем десятки оговоренных и причастных к делу подвергаются пытке. Пытка страшная: снимут с обвиненного или обвиненной рубашку, руки подле кисти скрутят позади веревкою, ноги свяжут ремнями, подымут на дыбу, палач станет в ноги на ремни – и оттягивает. Ручки из суставов вон выйдут, а палач начинает бить кнутом, да так, что через час мясо со спины ключьями валится. И много всяких пыток, одна другой страшнее...

Присмиреет Кисловка после такого дела, все друг от дружки сторонятся, сестра сестре, брат брату не доверяют. А смотришь, прошло немного времени, и опять кто-нибудь носит в кармане соль заговоренную, со знахарями да знахарками водится, вынимает след царский. И идет сыскное дело одно вслед другому, и стоит над всем, разрастаясь все больше и больше, чудовищный призрак колдовства и порчи, против которого бессильны все наказания мастерской палаты, все решетки с железными запорами...

В эту– то самую, тщательно охраняемую и злополучную Кисловку ранним утром направлялся Яков Осина со своим приятелем Мишкой. У Никитской решетки остановил их сторож и спросил, к кому и по какому делу идут они. Назвали они себя купцами и сказали, что идут к

Манке Харитоновой, несут ей для продажи меху на шапку, что она вчера у них сторговала. Сторож пропустил, и пошли приятели дальше.

Манка встретила их очень радушно, и, взглянув на нее, Осина сразу убедился, что она именно такая баба, какую им нужно. В какие-нибудь десять минут она успела показаться ему и скромницей, и глупенькой, и в конце концов, узнав, в чем дело; вдруг развернулась во всем своем блеске. Ее нечего было уговаривать и доказывать выгодность предприятия – она хорошо знала, что Морозов в долгу не останется, что дело прибыльное, и поэтому тотчас же взялась за него.

– И в самое вы время подошли, – сказала она, – еще с вечера нас оповестили, что будут собирать из бывших царицыных постельниц опять в Верх для службы новой царевне. В полдень я в Кремле буду и уж как ни на есть, а доберусь до царевны – я не я, коли не сумею обойти ее. На меня-то положитесь, да и сами не плошайте.

Затем она обратилась к Мишке.

– А тебе, чай, нечего расписывать, как до меня в терем добратся; коли что нужно – всегда сговоримся, теперь же вам засиживаться нечего, отваливайте подобру-поздорову. Опаска-то не мешает, чтобы нас не очень-то люди вместе видали...

Осина вышел первым от своей новой знакомой. Он не хотел мешать товарищу, у которого с Манкой могли быть и другого рода объяснения. Он нахлобучил на самые глаза себе шапку, ушел весь в овчинный воротник своего тулупа и самодовольно думал:

«А ну– ка сыщи теперь Осину! Пускай они себе, голубчики, по всей Москве рыщут, а мы вот как, среди бела дня по московским улицам похаживаем...

Нет, только не унывать, только смелее, и все в руках моих будет. Они чаяли – приказ отдан, так Осина, как заяц, сам им в руки дастся! Как же! Больно скоро – обождите малое время... Отслужу я тебе, Раф Родионович, отслужу, родимый!., да и Фиму-то, голубку, может, еще целовать да миловать придется... «Царевна»! – шутка ли!... то-то лафа будет!...»

## VI

Постоянно однообразная и скучная жизнь царского терема оживилась. В этот терем вступила новая жилища, которая, несмотря на свою молодость, должна была в скором времени сделаться его главной хозяйкою.

После того как молодой царь подошел к Фиме Всеволодской и вручил ей кольцо и ширинку, после того, как затихло первое движение, вызванное этим событием, Алексей Михайлович сам взял за руки свою взволнованную и дрожавшую невесту и провел ее в терем к сестрам. Царский выбор очень изумил как царевен, так и всех теремных обитательниц. Они ожидали совсем другого.

Откуда и каким образом – неизвестно, но в последние три дня имя Марьи Ильинишны Милославской было у всех на устах. Никто не сомневался в том, что именно ей предназначено быть царицей, и накануне, когда невесты были привезены в терем для тайных смотрин, царевны все свое внимание сосредоточили на Марье Милославской, как на будущей своей сестре и государыне. Они почти весь вечер ее окружали, наперерыв старались выказать ей свое внимание, для того чтобы заранее задобрить ее в свою пользу. Поэтому-то они даже и не разглядели, как должно, красоту Фимы. Теперь же вдруг не Милославская, а Всеволодская царем избрана! Ее ожидает уже заранее приготовленное для новой царевны помещение... Царственный жених, весь преобразенный, сияющий новым счастьем, подводит невесту к сестрам, просит их любить ее да жаловать.

Царевны постарались скрыть свое изумление и сначала большими церемонными поклонами, затем поцелуями и объятиями приветствовали Фиму. Они наперерыв друг перед дружкой спешили выразить ей свою любовь, расхваливали ее красоту, даже взяли маленький грех на душу: все в один голос объявили брату, что именно и ожидали этого, что краше и милее такой невесты ему и найти было невозможно. Еще вчера-де, как были у них невесты в сборе, она всех своею красой затмила. Разок на нее взглянешь – так на других и глядеть не захочется...

Царь краснел, улыбался и радовался. Фима, в чадуге счастья, не находила слов, чтобы достойно отвечать царевнам, и только плакала. Но все хорошо видели и понимали, что иначе и быть не может, что бедная девушка, вдруг так возвеличенная, должна плакать.

Обласкав и успокоив ее насколько было возможно, царевны объявили ей, что она должна теперь сесть в особое, для нее приготовленное кресло и принять поздравления от всего женского теремного чина.

Фима повиновалась, но она еще совсем не сознавала той необычайной перемены, которая произошла в ее положении, она все еще была потрясена счастьем своего нового чувства, внезапно ее всю охватившего и наполнившего ее блаженным трепетом. Она еще чувствовала милое прикосновение, стремилась к юноше-красавцу, который взглянул на нее среди волшебного сна и одним взглядом навеки взял ее сердце.

Двери царицыной палаты, где теперь находилась Фима с царевнами, растворились – и одна за другой, по старшинству и значению своему, начали представляться новой царевне женщины ее будущего придворного штата. Прежде всех явились верховые боярыни и первую из них – важная, степенная мама царя, Ирина Никитична Годунова. Она вошла гордой поступью, со строгим и в то же время равнодушным взглядом, остановилась перед Фимой, поклонилась ей с достоинством, поцеловала у нее руку и стала пристально ее оглядывать. Первое, приличное случаю, приветствие произнесла она мерным, спокойным голосом. Она сознавала, что ее твердо установившееся положение никто не может пошатнуть, что, напротив, перед нею должна заискивать будущая царица. Кто же, как не она, будет вводить ее в трудное и обширное царское хозяйство.

«Еще накланяешься передо мною, матушка!» – самодовольно подумала боярыня.

Окончив свое первое приветствие, Годунова нашла нужным сказать несколько слов и от себя царской невесте, для того чтобы ободрить и приласкать ее.

– Государыня царевна, – сказала она, горделиво закинув свою старую, красивую голову, – великое счастье послал Господь на твою долю, царь наш батюшка на тебе остановил свой выбор; да поможет тебе Господь быть ему доброю и достойною женою, а для всех нас

справедливою и милосердною царицей. Не взыщи на мне, старой бабе, коли скажу тебе какое слово не по сердцу, говорю-то я без лести, как Бог на душу положил. Немало годов живу я милостями государевыми, и покойная царица Евдокия Лукьяновна, царствие ей небесное, завсегда меня жаловала... И царя нашего батюшку приняла я на свое попечение новорожденным младенцем, выходила и выхолила его на славу, так и ты мне за это скажи спасибо – так-то, государыня царевна!... Служить тебе буду верою и правдою; молода ты и неопытна, годков тебе еще немного, да наделил тебя Господь красотою великою, наделил он тебя всеми благами, и ждем мы от тебя многих милостей, а уж мы-то все, опять говорю, твои слуги по гроб верные!...

Боярыня снова плавно и торжественно поклонилась и почтительно поцеловала руку Фимы.

Фима почувствовала, что должна что-нибудь ответить ей, почувствовала она также, что сильно робеет перед этой властной и горделивой женщиной. Поднялась она со своего кресла и поклонилась в свою очередь боярыне Годуновой. Да вдруг, безо всякого чина, заплакала и обняла ее – этими слезами, этим поцелуем робким и вместе с тем доверчивым как бы признавая свою слабость и прося защиты и помощи. Такое невольное движение девической души произвело благоприятное впечатление на старуху. Первое недружелюбное чувство, почти всегда возникающее в сердце гордого человека при виде чрезмерного счастья, выпадающего на чью-либо долю, исчезло и заменилось добрым чувством. Боярыня, даже несколько растроганная и умиленная, в свою очередь крепко поцеловала Фиму, ободрительно кивнула ей головою, а потом отошла и остановилась в сторонке.

Вслед за нею подошла ее соперница по влиянию в тереме – Ульяна Степановна Собакина, потом мама царевны Ирины – княгиня Хованская, царевны Анны – княгиня Троекурова, царевны Татьяны – княгиня Пронская. Все они, тоже с большим знанием дела, приветствовали Фиму; но их речи были другого рода. В них не заметно было той прямоты и независимости, с какими говорила Годунова. Эти важные боярыни сразу начали лестию, из-под которой для привычного глаза сквозили – зависть, неопределенный страх за будущее и многие недобрые чувства. После боярынь-мам представлялись остальные дворцовые и верховые боярыни, имевшие каждая по своей должности



большое влияние в царицыном домашнем быту: кравчая – правая рука царицы во всех домашних делах ее обихода; боярыня казначея – заведывавшая царицыной казной; светличная – управлявшая рукоделами женского дворцового чина; боярыня постельница – ведавшая весь постельный обиход царицын; боярыня судья – разбиравшая все споры и ссоры между теремными жильцами; наконец, боярыня приказная – ведавшая хамовный двор, на котором изготовлялась всякая белая казна, то есть полотна, скатерти и так далее. Все это были жены важных людей, приближенных к государю и отличавшихся родовитостью. Фима, в том состоянии, в каком она находилась, конечно, не могла наблюдать и вглядываться в эти новые лица, к которым сразу чувствовала страх безотчетный. Но если бы она могла заглянуть в их душу, то пришла бы в ужас и захотелось бы ей бежать подальше от этого роскошного, волшебного терема. Прекрасная, смущенная и ни в чем неповинная Фима была уже смертельным, кровным врагом почти всех этих женщин. Почти все они радовались бы ее несчастью как светлому празднику. Всем она стала поперек дороги, у всех отняла возможность породниться с царской семьей посредством дочерей, племянниц и других сродниц...

За боярынями длинной вереницей стали проходить в палату менее знатные женщины – вторая степень царицыных чинов: младшие казначеи, ларешница, учительницы и мастерицы и, наконец, боярышни-девицы или сенные боярышни, жившие в тереме для разных услуг. Боярышни эти уже принадлежали к третьей степени царицына чина. Они зачастую обедали вместе с царевнами, были подругами их, играли с ними, беседничали. Все это были по большей части родственницы верховых боярынь.

У Фимы голова кружилась от этой вереницы, проходившей перед нею, почти земно ей кланявшейся и целовавшей ее руку. Ей хотелось бы всех обласкать, всех уверить в том, что она будет любить их, и у всех, в свою очередь, попросить для себя любви и участия. Видя перед собою чье-нибудь доброе и милое лицо, она уж готова была высказать все, что чувствовала; но вдруг ее решимость пропадала, ее ощущения изменялись; все старые и молодые, добрые и неприятные лица становились ей совсем чужими, далекими, не имеющими с ней ничего общего. Ей казалось, что вот теперь они тут, а что через минуту они будут далеко, и она их никогда больше не увидит. Ей становилось как-

то холодно, тяжело, жутко, и она вся съеживалась на своем огромном, роскошном кресле, расписанном травами и птицами. Как загнанный, запуганный зверек, поглядывала она вокруг себя усталыми, почти бессмысленными глазами, и на прелестном молодом лице ее разливалось выражение тоски и страдания...

## VII

Царевны и боярыни торжественно проводили Фиму в предназначенные для нее покои. Заметив, что она едва на ногах держится от усталости, боярыня Годунова тотчас же сказала об этом царевнам:

– Оставим-ка ее, голубушку, поспать с часок времени, а то притомилась больно, да и как быть иначе?!

– Поспи, поспи, голубка, – сказала царевна Татьяна, обнимая Фиму и подводя ее к пышной кровати. – Как время будет, мы придем, тебя разбудим. Да что это ты такая печальная будто? Может, о родных вспомнила, так и их нынче же увидишь, уж за ними послано.

Фима ничего даже ответить не могла на все эти слова ласковые, и как только все вышли, она кинулась на кровать и крепко заснула.

Долго и глубоко спала она, так глубоко, что царевны, приходившие звать ее обедать, не решились потревожить ее сна и положено было дать ей хорошенько отдохнуть и выспаться.

«После сна и покушает с охотой, да и веселее будет!» – так порешила боярыня Годунова, и все согласились с ее мнением.

Фима проспала вплоть до вечерень. Открыла глаза, с изумлением поглядела вокруг себя и села на своей новой богатой кровати. Сразу она все вспомнила, прежний туман, прежнее забытие исчезли, мысли прояснились. Все эти два последних дня представились ей сном, подробности которого она, однако же, отлично помнила. И понимала она теперь, что этот мучительный и в то же время блаженный сон – явь настоящая, что прежняя жизнь навсегда окончена и теперь наступила новая. Горячо забилося сердце Фимы при мысли о молодом царе, который один был виновником всего этого сна волшебного, этой яви чудной и таинственной.

«Ох, как любить она его будет, как она уж его любит, как бесконечно он ей дорог!»

И в этом новом прекрасном чувстве она не думала о блеске своего положения, обо всем том величии, которое ее окружало и о котором до сих пор она не имела никакого понятия. Но вдруг что-то тоскливое опять закралось ей в сердце.

«Митя! – прошептали ее губы. – Бедный Митя!»

Она заплакала.

«Я счастлива... а он?... Чем заслужил он это... Не я ли тому причиной?!. Что-то он теперь? Чай уж знает... Ох, тошно, тошно... и зачем это, зачем все так вышло, зачем сказала я ему тогда, что люблю его... ведь я не любила... я ничего не понимала... вот я и теперь его люблю... люблю наравне с Андрюшей... да это не то... совсем не то!»

Ей страстно захотелось увидеть его, приласкать, успокоить, попросить у него прощения в вине невольной; объяснить ему все, что с нею случилось.

«Он добрый, добрее его нет на свете... Он поймет все... простит...»

Но она тут же вспомнила, что теперь ей нечего и думать о свидании с ним, что теперь уж навсегда все должно быть с ним порвано. И опять слезы полились из глаз ее.

«Видно, нет на свете полного счастья, всегда и везде-то, даже и в счастье – горе!»

Ей вспомнились все ее детские годы и потом последнее время. Вспомнился Касимов, жизнь в глухой усадьбе, ее детские радости, детские забавы. Ведь всегда и во всем был участником Митя, и ничего этого никогда-то уж не будет!

Но вот милый, прекрасный образ вновь мелькнул перед нею, и высохли слезы, и вернулась на лицо улыбка. Радостным и лучезарным взглядом окинула, она горницу, уже потемневшую в вечерних сумерках; увидела она в углу большой киот с образами, бросилась к этому киоту, упала на колени и начала горячо молиться. Полились новые, успокаивающие, благодатные слезы. Она благодарила Бога за великое счастье, ей ниспосланное, просила Его простить вину ее перед женихом прежним, просила спасти его и послать на его долю радость и счастье. Молитва ее ободрила, и она поднялась обновленная и измененная. В ней уже не было прежней робости, прежнего смущения. В этой спокойной, озаренной каким-то внутренним светом девушке трудно было узнать Фиму...

Дверь ее опочивальни тихо отворилась, и к ней вошла боярыня, за которой сенные девушки несли новый наряд для царевны. Она встретила их грациозным поклоном, исполненным достоинства, и неспешно стала одеваться.

Потом, выйдя к царевнам, где уже дожидалась ее трапеза, она всех изумила переменной, происшедшей с нею. Она нашла в себе умение сказать всем и каждой ласковое и милое слово, держала себя с полным достоинством, как будто всю жизнь провела в царском тереме. Никто не научил ее этому, научило одно – вдруг явившееся сознание своего положения; научила внезапно родившаяся и наполнившая все существо ее любовь к молодому царю, достойной невестой которого она должна была всем казаться. Боярыня Годунова внимательно в нее всматривалась и одобрительно кивала на каждое ее слово.

«Вот она какая! – думала боярыня. – Сразу-то я ее не разглядела, подумала: так себе, деревенщина, ан нет, знатная будет царица!... и откуда все это берется?!. О Господи, неисповедимы пути Твои!...»

Фиме доложили, что ее отец и мать прибыли в терем и ждут свидания с нею.

– Где они, где? – вся вспыхнув, крикнула она и побежала сама не зная куда, так что едва могли догнать ее и указать дорогу.

Раф Родионович и Настасья Филипповна, одетые в самые дорогие свои наряды, взволнованные и даже испуганные, робко озирались вокруг себя, поджидая свидания с дочерью. Увидев ее, они кинулись было к ней с радостными объятиями; но тут же руки у них опустились, и они остались неподвижными. Они не знали, как им быть, они боялись сказать или сделать что-нибудь неладное, боялись осрамить себя, а еще пуще того дочь свою.

Войдя в комнату, Фима тотчас же сделала знак шедшим за нею, чтобы ее оставили одну с родителями, заперла за собою дверь и, обливаясь слезами, упала на колени перед отцом с матерью. Она обнимала их ноги, целовала руки и долго не могла произнести ни слова.

– Фима, Фимочка, голубка! – шептали старики, тоже захлебываясь радостными слезами, поднимая ее, целуя, обнимая. Долго в богатом, уютном покое царского терема раздавались только тихие рыдания, и долго никто из этих людей, всю жизнь проживших вместе и расставшихся только несколько часов тому назад, не мог сказать ни слова – они будто свиделись после многолетней разлуки, будто не узнавали друг друга.

Первым очнулся Раф Родионович и почувствовал, что к его радости великой примешивается какое-то странное, неловкое

ощущение. Вдруг ему как-то стало тяжело. Он глядел на Фиму, и ему казалось, что Фимы, его Фимы, его дорогой, балованной дочки уже нету, что он никогда ее не увидит. Эта нарядная, сиявшая жемчугом и изумрудами красавица была не она, это была царевна, невеста великого государя, которая должна через несколько дней сделаться царицей.

Царицей! Что-то недостижимо далекое и высокое звучало ему в этом слове, и никак не мог он соединить понятие о великой государыне с Фимой. И это мучило его, и он вдруг стал совсем не тем, каким всегда привыкли видеть его домашние.

Фима глядела на него, не понимала, что такое с ним творится, отчего он стал таким, каким она его ни разу в жизни не видала. Он вдруг, будто спохватившись, отошел от нее, весь выпрямился, опустил руки и потом с смирением и благоговением наклонил голову.

– Дочь моя, – сказал он, – государыня царевна...

Он почему-то вообразил, что должен говорить с ней, как с царицей, но никак не мог этого и опять подошел к ней, и опять ее обнял и шептал, крестя ее, благословляя ее и целуя: – Богу молись, Фима! Богу молись, будь достойна такого счастья... Эх... да совсем я одурел... слов не найду, не знаю, что творится со мною, боюсь, как бы не рехнуться... в голове туман... Фима, голубка моя!...

Он махнул рукою. Красивое старое лицо его как-то совсем по-детски сморщилось, и он громко заплакал. А Настасья Филипповна сидела тут же, на парчовой скамейке, трясла головою, не отрываясь глядя на свою Фиму, и не плакала только потому, что уж не могла плакать – для такой минуты слез не хватало. Она совсем почти обезумела, она весь день не могла сообразиться с тем, что это такое случилось; говорила разумно, а между тем внутри ее, в голове ее и сердце было как-то не совсем ладно... будто порвалось что-то, потерялось и никак не могло сыскаться... Она говорила:

«Дочь наша Фима – царевна, будет царицей», – а в то же время никак не понимала, что это значит. И вот теперь только, когда Раф Родионович встал перед дочерью, поклонился ей и сказал: «Государыня царевна!» – она вдруг так-таки все и поняла. «Государыня царевна!» – это двойственное понятие о дочке и о царевне, которое испытывал Раф Родионович, нахлынуло и на нее и совсем ее подавило. Ее материнское сердце отчего-то сильно, сильно и

мучительно забилося, нога подкосились, голова тряслась пуще и пуще, будто подвешенная на проволоке, а глаза бессмысленно глядели на Фиму. Ей вспоминалось, будто сейчас оно было, то далекое время, когда долгожданная, у Бога вымоленная дочка милым и беззащитным ребенком лежала на груди ее. Она видела ее крохотный розовый ротик, жадно искавший материнской груди, чувствовала снова прилив той несказанной нежности, которая влекла ее к этому хрупкому созданию... Потом виделась ей Фима уже подростком... как вслушивалась она в ее бойкий лепет, как бессознательно радовалась каждому новому понятию, возникавшему в ее голове, дивилась, откуда все это берется: «Давно ли была крошкой, на четвереньках ползала, а теперь – на поди – с матерью уж и спорить начинает!» Потом... опять Фима... рослая, стройная красавица, гордость материнского сердца... мечты о судьбе ее, о Митином хозяйстве, про которое она украдкой все доподлинно разузнавала, мечты о внучатах... А то опять – эта ночь страшная... Борьба с Осиной, ужас леденящий... Фима, эта самая Фима, дитя милое и жалкое, плоть от плоти ее, кость от костей ее – Фима царица!... Она ли то, или ее и взаправду больше нету, и все это одно только сонное видение?! Страх и робость в сердце Настасьи Филипповны, и чего-то ей жалко, жалко до страдания, а чего – она и сама не ведает...

## VIII

Фима первая подавила свое волнение. Она должна была воспользоваться этим свиданием с отцом и матерью, чтобы решить главный вопрос, смущавший ее и отравлявший ее счастье.

– Успокойся, батюшка, – сказала она, – вот, того и жди, войдут и нам помешают, а много еще сказать нужно. Я и сама-то еще не могу очнуться. Буду непрестанно молить Бога, чтобы Он вразумил меня, глупую; умолю государя, что бы он не разлучал меня с вами, чтобы дозволил нам часто видеться. Коли бы знали вы, как добр он – царь-то, словно ангел Божий, с небес сошедший... чего я трепетала... чего боялась... помните... то стало моим счастьем. До гроба об одном помышлять буду – как бы ублажить моего государя... Ах, разум мутится!... Все прежнее кончено... и не жаль мне как-то этого прежнего... одно сосет сердце – Митя...

Настасья Филипповна при этом имени очнулась и замахала руками.

– Шш!... шш!... Фимочка! – испуганно шепнула она. – Что ты! Разве можно теперь думать о нем, говорить о нем?! Все это кончено... совсем забыть надо, будто никогда его и не бывало, не ровен час – услышат... Ох, страсти какие!... и так уж этим напугала меня совсем тетка.

У Рафа Родионовича мелькнула мысль, что их могут подслушать, и он многозначительно посмотрел на дверь. Фима заговорила тише.

– Да, нужно так, чтобы его как будто совсем и не бывало... – повторила она слова матери. – Сама я это знаю, только ведь как же быть-то... ведь жаль его... и он чем виноват?... Он скажет – обманула я его... как быть-то теперь?!

– Ничего этого не посмеет он сказать, – проговорил Раф Родионович. – Что же он, против Бога да против царя пойдет? С царем тягаться будет? От нас зла никакого не видал, а теперь ты ему и добро еще великое по времени можешь сделать... так о чем тут... Успокойся, родная...

– Не то, не то, батюшка, – с тоскою перебила Фима, – это со стороны так можно сказать, а перед Богом-то... в сердце-то своем,



совсем ведь другое. Я не могу его видеть... не должна, и прошу я вас: скажите вы ему, что Фима, мол, просит тебя простить ее, не питать к ней в душе злобу, не считать ее обманщицей... Как на духу, как перед Богом самим говорю, сама себя обманула... ровно брат родной был мне Митя, сами знаете, с детства привыкла к нему, а уж после того как он спас нас, что же могла я ему ответить?! Думала, любви другой и не бывает на свете и обещалась ему на всю жизнь... а как увидела царя, так и поняла все... Его, его одного люблю и буду любить вечно!... и никогда, и никого другого не любила... скажите вы это Мите... пусть, если может, забудет меня, а я и теперь его за брата почитаю...

Едва договорила она слова эти, как в двери стали стучаться. Вошла боярыня постельница и объявила, что из Кисловки прибыли женщины, и царевна должна избрать для себя младшую прислугу. Сказав это, она обратилась к старикам Всеволодским и поклонилась им большим поклоном.

– А тебя, государь Раф Радивоныч, и тебя, государыня Настасья Филипповна, царь к себе приказал звать, вот тут и стольник его дожидается, он проведет вас.

Всеволодские наскоро простились с дочерью и поспешили отправиться вслед за стольником. А Фима сказала боярыне:

– Пусть войдут, только как же я выбирать буду? Никого из них не знаю... мне все равно, уж ты сама выбери, за что же я буду безо всякой вины отказывать? Может, откажу такой, которая бы мне верно служила.

– Никак этого нельзя, – с поклоном ответила боярыня, – так уж заведено испокон веку. Да ты не смущайся, государыня: какая баба али девка приглянется, ту и укажи мне... как это можно обижаться, разве они смеют!

Фима замолчала.

Десятка с три молодых и пожилых женщин вошли к ней, земно ей кланяясь. Она ответила на поклон их и думала:

«Ну зачем все это?»

И опять тоска беспричинная схватила ее за сердце, ей тяжело стало, захотелось прежней жизни, свободной и понятной, а тут для нее уже начиналось все непонятное и тревожное. Первый незначительный шаг на новом пути уже сильно смутил ее. Впрочем, боярыня постельница постаралась вывести ее из затруднения. По мере того как

женщины, одна за другой, подходили и то робко, то бойко, смотря по характеру каждой, объявляли, каким делом они занимаются, боярыня быстро говорила:

«Вот эта тебе пригодится, царевна...» или «ну, без этой и обойтись возможно...»

Выбранные отходили по одну сторону с довольными лицами. Забракované снова земно кланялись и выходили из палаты. Между прочими подошла к Фиме и Манка Харитонова. Стройная и красивая, скромно и хорошо одетая, безо всякой робости и без излишней бойкости, она сразу приглянулась Фиме.

– А, это ты, Манка! – кивнула ей головою боярыня. – Эту я знаю давно, – обратилась она к Фиме, – при покойной царице годов восемь она была... Ни в чем дурном не замечена, дело свое разумеет...

– Ну и ладно, – шепнула Фима, – она мне нравится...

Манка, услышав слова эти, очень ловко представилась необыкновенно растроганной: слезы брызнули из больших черных глаз ее и, будто не в силах удержаться, она упала на колени перед Фимой и стала целовать ее платье.

– Государыня-царевна, – говорила она, – солнышко ты наше небесное, распрекрасное!... Господи милостивый! Уж и где же, где такая красота уродилась?! В жизнь такого ангела Божьего не видала!... Да прикажи только, матушка, на смерть пойду за тебя, дозвожь только постельку тебе оправлять, так я пушинки подбирать буду, как на облаке небесном заснешь ты, лебедушка белокрылая!...

Она, все не вставая с колен, подняла глаза свои на Фиму и глядела на нее с обожанием. Ее певучий, нежный голос, мягкий свет глаз ее обманули царскую невесту; с добрым чувством протянула она ей руку, которую Манка поцеловала как святыню.

– Коли она тебе по нраву, царевна, – сказала боярыня, – так я и назначу ее в твою опочивальню – прикажешь?

– Хорошо, – ответила Фима.

Манка рассыпалась в благодарностях и всяких льстивых причитаниях; но даже и этим причитаниям она сумела придать тон искренности. А потом, выйдя из палаты и самодовольно переговариваясь с товарками, она думала:

«Ведь говорила Мишке, что лицом в грязь не ударю! Не впервой, только пусть раскошелится Борис Иваныч, птичка-то из моих рук

не вылетит, и не таких заманивала, а эта что? проста больно, податлива... а уж красота-то! Господи, да с такой красотой только и быть царицей!... Да не будет, Манка того не хочет!...»

Прошло три дня. Фима начала свыкаться с царским теремом и со своим новым положением. Царя в эти дни она не видела ни разу. Согласно неизменному обычаю он не должен был видаться с невестой до тех пор, пока она не будет торжественно наречена царевной и обручена с ним. Обручение это должно было совершиться через два дня.

Царь всей душой рвался в терем, но все же не осмеливался навестить Фиму. Дни казались ему томительно долгими, и ни в чем не мог он найти развлечения. Да и все как-то вокруг него изменились; он не узнавал прежних, близких людей своих, чувствовал, что почему-то они не те. Особенно поражала его перемена, происшедшая в Морозове. Между воспитателем и воспитанником, несмотря на все усилия боярина скрывать свои мысли и чувства, легло теперь многое.

Алексей Михайлович не раз пристально вглядывался в Бориса Ивановича и с изумлением замечал, что тот как будто даже избегает его взглядов. Наконец это стало его мучить, он всегда так горячо любил Морозова и особенно теперь, в дни своего счастья, ему тяжело было видеть отдаление воспитателя, ему, напротив, хотелось бы, чтоб и тот радовался его радостью.

Он решился прямо заговорить с ним.

– Иваныч, – сказал он, кладя свою руку на плечо Морозова и ласково заглядывая ему в глаза, – чем я огорчил тебя? Или в том виноват, что не тебя послушался, а послушался своего сердца?... Ах, Иваныч, да как же тут... разбери сам... должен я был избрать жену себе по сердцу – ну и избрал ту, что краше для меня солнца небесного... Неужто ж мне было уйти от нее, отвернуться, да мне смерть без нее, вот что!...

Морозов отвечал на это мерным и спокойным голосом:

– Коли ты так ее любишь, государь, – ну и ладно! Да будет над вами благословение Божие... и не то мне горько, что избрал ты Ефимию Рафовну, не след тебе так думать, выкинь ты это из мыслей, а то мне горько, что ты скрывался перед дядькой своим верным, не

захотел поведать своих мыслей, открыть сердца, как бывало... счел меня недостойным...

Алексей Михайлович не дал договорить ему, бросился к нему на шею и только повторял:

– Не кори меня, Иваныч; видит Бог, люблю тебя по-прежнему!...

Морозов постарался казаться довольным этим объяснением и только больше с этой минуты наблюдал за собою, скрывая свои ощущения.

По вечерам царь спешил к сестрам; он знал, что там нет Фимы, что ее поспешно удаляют при его приближении; но он знал также, что с сестрами можно поговорить о ней, узнать, что она в этот день делала, что сказала, что велела передать ему. И он расспрашивал сестер о каждой мелочи, заставлял их по нескольку раз повторять одно и то же и возвращался к себе все более и более очарованный своей невидимкой-невестой.

А по его уходе царевны приходили в покои Фимы, и там опять начинались те же разговоры. Царевны уже сдружились с Фимой. В их скучной, однообразной жизни она являлась новым развлечением. Им интересно было порасспросить ее о том о другом, о ее прежней жизни, о том, чего она навидалась, что вынесла в последнее время. Ничего-то они не знали, ни о чем не имели понятия. При жизни матери все чрезвычайно бережно обращались с ними, потому что царица строго оберегала дочерей от всякого лишнего слова, а со смерти царицы прошло еще немного времени и хоть в тереме стало свободнее, но все же еще некогда было многого послушаться. Особенно поразил и заинтересовал царевен откровенный рассказ Фимы о нападении на усадьбу, о бегстве от разбойников. Царевны слушали этот рассказ, как самую интересную сказку, – старые сказки уже все давно надоели, а эта была новая.

Царевны были молоды, им еще и в голову не приходило завидовать Фиме, завидовать ее будущему первостепенному положению в тереме. Напротив, они радовались, что у них будет новая молодая хозяйка, которая наверно разрешит многое такое, чего теперь не позволяют старые, суровые боярыни. И они привязались к Фиме, как будто давно уже знали ее; они с детской радостью принялись за многотрудное дело – снаряжение приданого царской невесте.

Но, кроме царевен да отчасти боярыни Годуновой, у Фимы не оказалось друзей в тереме. Напротив, все боярыни с каждым часом вооружались против нее все больше и больше. Никак они не могли примириться с мыслью, что дочь бедного касимовского дворянина будет их царицей. Многие бы дали они, чтобы эта свадьба расстроилась, чтобы в новой царевне оказался какой-нибудь изъян. Да отчего бы и не быть этому? Многие еще помнили судьбу невесты царя Михаила Федоровича, Марьи Хлоповой. Эта Марья Хлопова, как и теперь Фима, была из незнатного рода, и ее избрание пришлось очень не по вкусу тогдашним сильным боярам. Они опасались новой родни царской, тем более, что некоторые из Хлоповых отличались нравственными достоинствами и сразу полюбились молодому государю.

Царская невеста была уже наречена царевной и жила в тереме. Случилось так, что ее родной дядя крупно поговорил с одним из самых сильных бояр, Михайлой Салтыковым, а через несколько дней после того «царевна» вдруг заболела. Болезнь ее была странная: «рвало и ломало нутрь и опухль была»...

Государь поручил наблюдать за лечением своей возлюбленной невесты тому же кравчему Михаиле Салтыкову. Лечил сначала дохтур Валентин Бильс, затем показывали ее лекарю Балсырю, – они объявили болезнь девушки незначительной и уверяли, что от болезни «порухи чадородию быть не может».

Салтыков отстранил дохтура и лекаря и рассказывал царю, будто они признали болезнь его невесты неизлечимой и жизнь ее ненадежной. Вместе с тем он успел вооружить против царевны и ее родных мать государя, великую старицу Марфу Ивановну, имевшую очень сильное влияние на сына.

Как ни боролись Хлоповы с боярской интригой, но осилить ее не могли. Назначен был собор, который и решил, что «невеста к государевой радости непрочна, а потому ее следует сослать с Верху».

И сослали несчастную Марью Хлопову, хоть она и совершенно оправилась от своей болезни, отправили ее в Тобольск, разлучив при этом с отцом и матерью.

Долго молодой царь Михаил Федорович не мог забыть своей милой невесты; но с матерью, строгой и властной старухой, да с боярами лукавыми он не в силах был бороться и наконец покорился

своей участи – выбрал себе такую, царицу, которая была по мыслям всем окружающим...

«Эх, кабы и с этой болезнью какая лихая случилась! – думали обиженные боярыни. – Может, и ее бы сослали с Верху, а царь выбрал бы другую, кого-нибудь из наших»...

А тут вдруг, будто в ответ этим злобным желанием, прошел по терему глухой слух, к которому жадно стали прислушиваться боярыни. Одна из постельниц царевны, Манка Харитоновна, будто бы рассказывала сенным девушкам, что с царевною нынешнею ночью случилось что-то неладное. Спала она тихо и спокойно, и вдруг ее стало метать по постели, поднимало ее вверх на аршин, а то и более, а у рта пена! И будто бы видела все это своими глазами Харитоновна. Боярыни тотчас же стали допрашивать Манку; но та ото всех своих слов отперлась и, как ни искали, кто пустил по терему слух недобрый про новую царевну, а разыскать ничего не могли.

В другое время, конечно, так не оставили бы. Пустили бы в ход пытку, так и те, кто ни слова не говорил, наплели бы на себя, со страху да муки, всякие небылицы. Но теперь боярыни для самих себя разыскивали и в сущности потушили это дело, не донесли о нем кому следовало. Одному они печалились, что царевны не на их стороне и ни малейшему дурному слову не хотят верить про братнину невесту. Будь это иначе – они ловко бы и скоро повернули дело.

«А теперь как быть? И ума не приложишь...»

– Да что тут думать-то? – порешила наконец княгиня Пронская, более всех ненавидевшая Фиму из-за своей дочки. – Правда ли то, либо нет, а боярину Морозову нужно про все доложить немедля. Он царский дядька, он первый человек... коли что; так он и в ответе будет... на нас поклеп взведет, что мы-де утаили...

Собеседницы княгини в один голос согласились с нею. Они знали, что Морозов подставлял Милославских, и неожиданный царский выбор – ему острый нож в сердце.

В тот же день князь Пронский побывал у Морозова и передал ему, со слов жены, о том, что в тереме носятся недобрые слухи, будто бы царская невеста испорчена.

Морозов выслушал внимательно, задумался и потом проговорил спокойным голосом:

– А не всякому слуху верь, князь, да и княгине своей закажи тоже... Мало ли что бабий язык наболтает!... Ведь царевну дохтур немец осматривал и нашел в полном здоровье. Это теремные бабы с досады да с зависти надумали, я так полагаю. Так скажи-ка ты княгине, чтобы она о тех речах пустяшных лучше помалкивала, о себе бы подумала; с таким делом шутить не след; избави Бог, царь узнает... сыск пойдет, так многим тогда плохо придется... Ишь, ведь, право, что надумали!...

Пронский с изумлением глядел на Бориса Ивановича. Совсем он его спутал этими словами.

«Ох, хитер же ты, Бориска! – подумал он. – Кажись, черта, и того проведешь, а уж нам-то, грешным, где тебя раскусить...»

Так вот и остались пока ни с чем теремные завистницы.

Между тем слух все же был пущен; он шепотом повторялся во всех углах терема. И если бы Фима была внимательнее, она бы заметила странные и подозрительные обращаемые на нее взгляды; но ни она, ни царевны в своих хлопотах и радости ничего не заметили.



Было послеобеденное время, в которое обыкновенно тишина находила на терем. Плотно покушав, и царевны, и все теремные жительницы позволяли себе соснуть часок.

Фима, по примеру других, прошла в свою опочивальню и уже готова была прилечь на кровать, не для того чтобы заснуть, а чтобы среди тишины да покоя подумать о своем счастье, подумать о том, кто так близок от нее и кого между тем она все еще не может видеть. Вдруг двери опочивальни тихонько отворились и пропустили существо очень странного вида. Фигура сухощавая и длинная, на голове большая кика, вся ушитая бисером и медными погремушками; черный суконный, так называемый вдовий, опашень; телогрея лазоревая на зайцах, сапоги красные, золотом шитые, на каблуках высоких. Лицо, сухое, с большими огненными глазами, само по себе ничуть не смешное, а даже скорее печальное, но в то же время самым потешным образом размалеванное белилами, румянами и сурьюю. Брови кольцом выведены, щеки белые, а нос, лоб и подбородок красные. Странная эта женщина притворила за собою дверь, сделала дикий прыжок к Фиме, тряхнула кикою, отчего зазвенели все привешенные к ней бубенчики, и неестественно засмеялась.

Фима уже знала ее – не раз видала. Это была дурка-шутиха царевны Ирины, по имени Катерина.

– Чего тебе? – изумленно спросила Фима. – Царевна зачем-нибудь прислала?

Шутиха перестала смеяться, и вдруг лицо ее, даже несмотря на размалевку, сделалось очень серьезным:

– Царевна спит, все спят, – заговорила она. – А ты не спишь, вот я и пришла. Не гони, все равно не уснешь, а я тебе забавное скажу что-нибудь... Нет – вру, ничего не скажу забавного, скажу другое... Ты думаешь, ты кто? Небось скажешь: царевна – невеста царская! – небось скажешь? Ан и соврешь. Ты самая что ни на есть несчастная и бедная девка – и мне тебя жалко!...

Фима села на кровать и с изумлением и даже страхом посматривала на шутиху, а та продолжала, подсаживаясь на пол у ног

ее, подперши обеими руками свою голову и глядя на нее черными выразительными глазами:

– Я дурка-шутиха, потешная баба, я день-деньской языком болтаю, а все же подчас вижу то, чего никто не видит... Эх-ма, сорок шестов собачьих хвостов да сорок кадушек соленых лягушек!... Нешто не видала я, как тебя, горемычную, сюда притащили? Каждую думку я на лице твоём читала; я потом видела, как на царя воззрилась, а он на тебя. Ты небось тогда думала, что это гуслир молодой, а я уж знала, как оно все будет. Говорили: Марья Милославская, а я знала, что не она, а ты; а вот теперь и опять сбилась. Теперь уж они говорят: ты, а не Марья Милославская, а мне сдается: не ты, а она...

Фима вздрогнула; ей сделалось совсем страшно, она уж хотела выбежать и позвать кого-нибудь, чтобы увели эту сумасшедшую, которая так глядит на нее и говорит ей такие непонятные речи. Шутиха заметила ее движение и придержала ее.

– А, испужалась?! Ну так не бойся, царевна, я не так говорить буду.

Она действительно изменилась – ее голос сделался нежным, глаза кротко смотрели.

– Да, не так говорить стану, жалко мне тебя – вот что! Немало я на свете навиделась горя и чую, что стоит теперь и над тобою горе. Бедная пташечка, улететь бы тебе в родное гнездышко да и остаться там навеки, а прилетела ты, вольная, лесная пташечка, в золотую клетку, – боюсь, как бы не заела тебя злая кошка... Видела ты его... видела? он стоял тогда за ним, за царем, белый такой, с черной бородой – он и есть та самая злая кошка!... Боярином Морозовым прозывается! – шепнула она совсем уже на ухо Фиме.

– Да не томи меня, не мучь! – со слезами сказала девушка. – Что ты пугаешь меня?! Что терзаешь мне душу?! Заметила я Морозова – ох как заметила! Как в первый раз глянула на него, так сердце во мне и замерло... Страшен он мне очень, а теперь вот и ты говоришь... что же это такое?!!

Шутиха вскочила, подошла к двери, тихо отворила ее, прислушалась и затем вернулась на свое место, к ногам Фимы.

– Ну вот и чую я – недоброе против тебя замышляется. Морозов хитер, да и не один Морозов, многие обижены, что тебя царь выбрал. Им нужно известить тебя – понимаешь? Так вот я и пришла сказать тебе

это – будь осторожна, не верь никому... Ох! не верь никому! Каждый кусок ешь, каждый глоток пей с опаскою – всяко бывает.

У Фимы сердце заныло, тоска и ужас охватывали ее все больше и больше. В словах этой страшной женщины, в лице ее было что-то, что говорило теперь Фиме о серьезности, о справедливости этих слов ее. Не пугать она пришла, не злую шутку шутить, а, видно, взаправду уберечь хочет. Но что же делать? Фима почувствовала себя совсем одинокой, окруженной чужими, страшными людьми, и ни одной-то близкой души нет возле! Она горько заплакала.

– Да ты не плачь, царевна, – сказала шутиха, – а подумаем-ка лучше, как помочь горю. Я-то за всем следить буду и коли что – тотчас же доложу тебе... А пуще всего берегись постельницы своей – Манки... Ох! скверная баба! Я ее уж и допреж того, при покойной еще царице, заметила. Она тебе враг лютей, не допускай ее до себя, прогони прочь скорее.

– Она? неужто? не ошиблась ли ты?! Она, кажется, такая добрая, так мне угождает.

– Не верь ей, голубушка. Дьявол, прости Господи, испокон веков ласковые личины принимает да сладкие речи придумывает, когда хочет погубить человека. А вот что скажи ты мне, – чай, была у тебя мамка, что дома-то, у родителей, ходила за тобой. Жива ли та мамка твоя? На Москве ли она?

– На Москве, – ответила Фима.

– Так вот и попроси ты через царевен государя, чтобы тебе дали твою мамку. Скажи, что соскучилась по старухе, что она привыкла угождать тебе – царь не откажет. И близкий человек у тебя будет, да и легче тогда уберечься.

– Ах! спасибо тебе, Катеринушка!

Фима вся так и встрепенулась при мысли о Пафнутьевне.

– Спасибо тебе за слово твое разумное! Немедля же буду просить царевен, чтобы доложили государю... С Пафнутьевной мне не так страшно будет!

– Так как же это ты, голубушка, меня гнать хотела от себя, а вот мы и додумались! – ласково проговорила шутиха и поднялась, чтобы уходить, но Фима ее остановила.

– Побудь со мною, – сказала она, – я полюбила тебя, поговорим-ка. Скажи мне, Катеринушка, многого я тут не понимаю – чудес много

в тереме. Да вот хоть бы ты сама, зачем ты такая? Зачем тебя все шутихой-дуркой называют? Зачем ты кривляешься, на кике бубенчики носишь, слова разные потешные приговариваешь?

Шутиха горько вздохнула и покачала головой, отчего опять на все лады залились ее бубенчики.

– Да уж как и сказать тебе, царевна, – не знаю. Годов восемь тому жила я счастливо, припеваючи. Муж был, детки были; только и пришла беда нежданная: болезнь лихая забралась к нам в Суздаль, мор пошел. В одну неделю и муж, и детки померли. Обезумела я совсем, весь день и ночь в голос голосила, головой об стену билась. Ну а потом слезы вдруг и пропали, да и жалость будто пропала, тошно только было глядеть на свет Божий. Зло вдруг стало разбирать меня, зло на всех. Бывало, день-деньской сижу на одном месте и все думаю, думаю, перебираю в памяти всю-то жизнь мою, а я-то многого навидалась, всякой неправды людской, всякой дурости. Опротивели мне люди, а зло так и кипит во мне, – и хохочу я сама с собою... Помню, день праздничный выдался, на базар я вышла, вижу, мужики дерутся, муж жену бьет, вор бежит с покражею, подьячие народ пугают воеводою, последнюю шкуру сдирают, народ в кабак валит. Так и покатила я со смеху! Что уж им всем говорила – не помню, откуда слова явились, присказки... И пошла я с того дня слыть шутихой. Проведал про меня воевода, на Москву отписал. А в ту пору царевна Ирина, еще дитей она почти была, у матушки своей царицы новую дурку запросила – вот и привезли меня. И не первый год, а четыре года живу я в царском тереме. Многому уже и здесь научилась, многого навидалась, о чем прежде и не грезилось. И все пуще разбирает меня хохот. Не раз ночью проснусь в каморке своей, сяду на лавку, да и хохочу себе. Ну да не все же смех, не все шутовство одно, тяжело бывает – тогда плачу. Вот и о тебе поплакала, да и притащилась сюда. Спасибо, что шутиху не выгнала...

Боязно и внимательно слушала Фима эти странные речи, и долго они беседовали, и много нового и удивительного порассказала царской невесте Катерина. Говорила она ей про царевен и про царицу покойную. Говорила о том, что не больно-то радостна жизнь царевен.

– Глупые люди завидуют, – говорила она, – а того не размыслият – чему завидуют? Весь-то век в терему, не ведают света Божьего... родилась царевной и умрет царевной. Не будет у нее семьи, не будет

ни мужа, ни деточек. От царского рода – откуда ей мужа добудешь? Вот хоть бы и моя царевна, Ирина – давно уже невеста, да и жених даже был, был да и сплыл, и поминай его, как звали.

– Ах, Катеринушка! расскажи мне об этом, пожалуйста, слышала ведь я что-то, только спросить царевну все как-то боязно, а сама не говорит.

– Да вот как дело-то было, – ответила шутиха. – Царь-то покойный крепко любил свою доченьку старшую, и не хотелось ему, чтобы оставалась она в девках. Задумал найти он ей мужа, из чужого государства королевича. Прослышал это он, что в немецкой земле, Дания она прозывается, есть у царя тамошнего сынок молодой – и послал он туда послов. Так-де и так! чтобы прислали того королевича. Ну, королевича не прислали – послы ни с чем вернулись. Погодя, государь Михаил Федорович посылает опять туда, только уж не послов, а немца Марселиса. Немец тот по сию пору у нас на Москве живет. Вернулся немец, говорит: прибудет королевич. И точно – прибыл, да и не один, а со многими людьми ратными. Принимали его, чествовали. Вольмаром тот королевич прозывался, собою красавец писанный, говорят, да разумный такой, уветливый. Государь и говорит ему: «Возьми за себя дочку нашу, царевну Ирину, и живи с нами; много городов и вотчин мы тебе пожалуем, только так как ты, значит, в басурманскую веру крещен, то должен от той веры отказаться и креститься в нашу веру истинную, православную». Королевич на слова эти государевы такую речь держал: «Царевну я возьму за себя, и города, и вотчины тоже, жить буду у вас в послушании, а веры своей басурманской менять не стану». И тут же попрекнул государя: «Ты, говорит, моему отцу обещал не нудить меня в вере, с тем я только и поехал, как же теперь-то? – неладно оно выходит!» Осерчал наш царь: «Беспременно должен ты переменить веру!» Тот твердит свое: «Не могу я того сделать, и коли так – отпусти меня в мою землю!» А царь все не отпускает. Приставил стражу к королевичу, патриарху приказал его уговаривать, да ничего из того не вышло – стал басурман на своем. Под конец освирепел совсем, бежать хотел, а как его остановили, так он со своими людьми басурманскими наших стрельцов видимо-невидимо побил. Пуще прежнего караулить его стали – бежать ему уж и нельзя было; закручинился немец, сна лишился, пищу перестал принимать. Говорят царю: «того и жди помрет». А царь все одно

твердит: «Пусть крестится на веру православную, тогда мы ему всякие почтения окажем, а не хочет, так взаперти держать будем и домой не отпустим». А у самого-то у царя кошки скребут на сердце... видала я его тогда... как приходил он к царице... хмурый такой, пасмурный... на себя непохож стал – как-то ему было обидно... И что же бы ты думала? – чем все это кончилось?! Хворал царь, хворал, да и помер, а за ним скончалась и царица. Так вот месяца с два тому времени, что ли, отпустил государь Алексей Михайлович того королевича Вольмара подобру-поздорову, а царевна Ирина ни с чем и осталась... жениха своего ни разу и не видала... Вот какие дела у нас делаются!...

Между тем в тереме началось движение – все проснулись. Шутиха первая слышала это движение своим чутким ухом и, еще раз уверив Фиму в том, что будет наблюдать за всем и за всеми, поспешно вышла из опочивальни.

И долго неподвижно сидела Фима – новый мир, страшный и чудовищный, встал перед нею и заслонил собою ее молодое счастье.

Царь, конечно, немедленно и с радостью согласился на просьбу Фимы относительно переселения в терем Пафнутьевны, и за старой мамкою тотчас же было послано.

Не прошло и часу, как ее уже ввели в покои царской невесты. Пафнутьевну несколько это не удивляло – она была заранее уверена, что Фимочка вспомнит о ней и потребует ее к себе беспрерывно. Кто же так может услужить ей, как старая мамка, ведь со дня рождения она ходила за нею! Каждую ночь, в течение почти семнадцати лет, спать ее укладывала, сказки ей на сон грядущий говаривала...

Войдя в царский терем, Пафнутьевна не испытывала никакого смущения. Ее чувства были совершенно иные, чем у стариков Всеволодских. Она была слишком стара и равнодушна к внешней обстановке жизни, чтобы поразиться не виданной ею до сих пор роскошью. А насчет того, что ее Фимочка так внезапно сделалась хозяйкой всей этой роскоши – ведь она уж давно порешила, что так оно и должно, и будет непременно. Не смущали ее также встречи с разными важными боярынями, а глядя на попугаев в золоченых клетках, на обезьян да на карл с арапками, она только отплевывалась и про себя шептала: «Тьфу ты, мерзость какая, прости Господи!»

Войдя в опочивальню царской невесты и поджидая Фиму, которой пошли о ней докладывать, она внимательно осмотрела все убранство, тотчас же подошла к кровати, перещупала перины и подушки, одеяло, перестлала живо постель, как ей показалось удобнее, и, окончив эту работу, одобрительно кивнула головою. Особенно понравился ей киот с драгоценными образами. Положила она набожно три земных поклона за здоровье Фимы и поправила лампадку.

– Здравствуй, Пафнутьевна! – звонко крикнула, вбегая и бросаясь к старухе, Фима.

– Здравствуй, дитяtko! – радостно и в то же время спокойно ответила старуха.

Фима плакала, обнимаясь с мамкой, но та не проронила слезинки.

– Что ты это, зачем плакать? – шептала она. – Грешно плакать на такой радости. Покажись-ка, дитяtko!...

– Так, так, – повторяла она, разглядывая наряд Фимы, – все как следует... Хорошо! Царевна!... слава-те Господи! – закончила она, перекрестившись. – Дождалась-таки я радости.

– Ах, Пафнутьевна, садись, садись скорей! Чем мне угостить тебя? Чего хочешь, скажи только, тут все есть, всего вдоволь.

– И что ты, родная, до еды ли мне! Да я уж и отобедала.

– Ну так рассказывай скорее, что там у нас делается? Все ли здоровы? Что батюшка, матушка?... Андрюша?... Ведь Андрюшу-то я совсем не видала.

– Все расскажу, дай время.

И еще раз оглядевшись, погладив Фиму по голове и поправив на ее шее нитку крупного жемчуга, Пафнутьевна своим мерным голосом стала рассказывать:

– Все у нас, слава-те Господи, благополучно, только шуму много – наезжают бояре, кланяются твоему батюшке, твоей матушке – почет ведь им теперь такой, что на поди! А Андрюши весь день дома нет, у невесты своей, чай слышала? Вчерась у родителей спросился, завтра сватов засылать будет. Да только мне не совсем по сердцу это дело.

– Отчего так, матушка? – перебила Фима. – Кажись, Машенька девушка хорошая.

– Ну, как кому! Первое – что-то еще скажет приданое, второе – все как-то не по-божески делается. Где это видано, чтобы парень еще до сватовства торчал так в доме?!

– А у нас-то, – невольно бледнея, прошептала Фима, – разве не то же с Митей было?

Старуха строго поглядела на свою питомицу.

– Ты бы, матушка, теперича о Мите и не говорила – совсем некстати! Забудь и думать о нем. Вот и Настасья Филипповна мне наказывала, как отпускала сюда: скажи, мол, Фиме: ни гу-гу! как раз еще беда выйдет.

– Сама знаю, – ответила Фима, – да я о нем и не думаю, о другом теперь все мои мысли, а все же мне его жаль, мамушка! не слышала ли чего о нем, не видала ли?

– Как не видать! Сходила, проведала... Хмурый он, молчаливый, только ничего, обойдется. Он парень разумный, понять должен, что ничего тут не поделаешь. Все перемелется, не тужи ты об этом, совсем из головы выкинь! А вот что я скажу тебе: старик-то, Пров, шепнул



мне, вишь ты, Осина проклятый отыскался... Они его выследили. Говорил Пров: «Не уйдет он от меня— не ныне, завтра словлю его и куда след предоставлю».

— Ну, слава Богу, — сказала Фима и перекрестилась, — а то я не раз уж об этом помышляла. Я-то здесь, батюшки не вижу день-другой, не слышу о нем — вот все и думается; ну как тот разбойник где-нибудь повстречался!... Ох, страшно! Сама ты, мамушка, знаешь, от него всего ждать можно. Так это ты хорошую весть принесла мне. Только бы узнать скорей, когда Пров его словит, вздохну я тогда спокойно.

Долго они толковали о делах своих домашних. Фима поверила старой мамке все душевное состояние, рассказала о страхах своих, о свидании с шутихой Катеринкой.

Пафнутьевна задумалась и долго сидела молча, поджимая губы и как-то особенно жуя беззубым ртом.

— Так вот оно что! — наконец тихо и печально проговорила она. — Ах они, злодеи! Вот этого-то в мыслях моих и не было. Как же это они на невесту-то царскую злоумышлять смеют? Нет, тут неладно что-то, может, еще наврала тебе эта шутиха-то, кто ее ведь знает, какая она! Да вот теперь не отойду от тебя, ну что они тут сделают!... Скоро ли обрученье-то?

— Через два дня, Пафнутьевна.

— Дай-то Господи поскорей! Нагляжусь я на тебя, дитяtko, в венце-то царском, золотая моя пташечка! Ну а потом как же, у себя навсегда оставишь, что ли?

— Еще бы! Неужто прогоню тебя?

— То-то, родимая, то-то? А теперича ты, дитяtko, ступай себе с Богом, говорила ведь: царевны ждут тебя, — так ступай к ним, а я тут останусь. Стара, стара, а все же не совсем разума меня Господь лишил, поразгляжу всех, все выведаю, в обиду не дам тебя, будь покойна!

Фима отправилась к царевнам, а Пафнутьевна стала мало-помалу знакомиться с новой обстановкой, и тут для нее был труд немалый: слишком велика, слишком запутана для ее старой, непривычной головы оказалась теремная машина, да к тому же какими-то хитрыми, двуличными показались ей Фимины прислужницы. Из-за их ласкового обращения и внимания, которое ей оказывали как царевниной мамке, она замечала что-то неладное. И, действительно, неладного было

много. Слух, пущенный постельницей Харитоновой, не затих, но напротив, с каждым часом разрастался.

– Видно, и взаправду болесть какая с царвною, – шептались между собою теремные женщины младшего чина, – вон, вишь ты, и мамку свою она сюда перетащила. Это отвод один, известное дело, мамка ее не выдаст и, коли взаправду с ней по ночам родимчик приключается, так старуха все скроет. Ну да ведь мы уж выследим, такого дела не оставим. Как можно молчать, на такое дело гляючи!...

А когда пришел вечер и Фима объявила, что она будет спать вместе с Пафнутьевной, и когда Пафнутьевна крепко заперла дверь опочивальни, недобрый слух пошел еще пуще по терему. Шептались и толковали не только младшие постельницы, но и верховые боярыни.

Царь не в силах был дольше откладывать торжественного обручения, да и не было к тому никакой помехи.

На следующее утро во дворец снова были созваны все высшие сановники. С вечера уже был приготовлен пышный наряд для невесты. Царевны сами снесли его к ней в опочивальню. Принесли туда и тяжелый венец царский, в котором она должна была выйти к царю.

Пафнутьевна весь этот вечер не отходила от Фимы. Она сама теперь чего-то боялась, чуяла что-то недоброе. Она решилась никого не впускать к Фиме, всю ночь не спать, сторожить ее, чтобы чего не случилось.

«Ох, жутко! – думалось ей. – Похвалилась это я Фимушке, что уберегу ее, а как тут убережешь, в этаким-то содоме!... Ну уж и теремок! и куда это столько покойчиков понастроено... а стены-то все обвешаны сукнами да атласом – и не видно под тем сукном и атласом – может, где и дверка потаенная прячется, может, где и глаз человеческий в щелку глядит на тебя, все видит, а ты его и не заметишь... Везде половики толстые да мягкие разложены – подкрадется к тебе человек – что хошь с тобою сделает – и глазом не моргнешь... А уж люди-то здесь, люди! упаси Господи – ровно на разбойников в темном лесу на всех озираешься... Мало ли что могут придумать злые люди, мало ли какое колдовство пустить могут!...»

Она тщательно перестлала, пересмотрела постель и не нашла ничего подозрительного. Сама сходила на колодец за водою для умыванья. Несколько раз Манка Харитонова, все эти дни очень к ней подбивавшаяся и никак не могшая достигнуть своей цели, просила у нее позволения помочь ей в чем-нибудь. Пафнутьевна решительно отстраняла все ее услуги, а также услуги других постельниц.

Наконец Харитонова из сил выбилась и с озабоченным видом бродила по теремным коридорчикам и переходам, очевидно, что-то важное обдумывая.

Когда все в тереме стали засыпать, она незаметным образом оделась и вышла на один из дворов кремлевских. В укромном, заранее условленном месте дожидался ее Мишка.

– Ну что? – спросил он. – Как дело идет? Дала ли ты ей того зелья?

– Вот оно, вот, бери! – злобным голосом сказала Харитоновна, подавая какой-то маленький сверточек Мишке. – Не пригодилось твое зелье – никакого нет доступа! Старуха проклятая, как собака, от нее не отходит, ничего не поделаешь. Другое придумать надо.

– Эх, что ж это ты, Марья, опростоволосилась, – смущенным голосом выговорил Мишка, – а мы на тебя в крепкой надежде были... Что ж теперь-то? Другого ничего не придумаешь!

– Тебе не придумать, а я, может, и придумаю, – огрызнулась Манка. – Поди теперь доложи боярину, что с зельем ничего нельзя было поделать, да, может, оно еще и лучше. Утро вечера мудренее, придумала я кое-что – и без зелья справимся.

– Ну, что такое? Говори, передам боярину.

– Ан нет, не скажу. Коли взялась я за дело, так одна его и сделаю. Останетесь довольны. Только смотри, чтоб уговор в точности соблюден был, сто рублей от боярина, да соболью шапку, да у новой царицы место казначеи. И скажи ты ему, чтобы он никак не отступался, ты меня знаешь, – коли обманете, себя не пожалею – на пытку, на казнь пойду, а уж выведу наружу все дело.

Манка поспешно простилась со знахарем и вернулась в терем. Ночь прошла благополучно.

Фима долго не могла заснуть от волнения, от разнообразных мыслей, но потом все же заснула.

Пафнутьевна на войлоке, в ногах ее постели, не спала, сидела и не сводила глаз с нее, только временами вставала она, чтобы поправить лампадку, и опять садилась на войлок, и опять глядела на свою Фиму.

Тихо было в тереме.

Сон начинал клонить Пафнутьевну, но она ему не поддавалась.

Между тем сон Фимы сделался тревожен; очевидно, ей грезилось что-то страшное. Она вся раскинулась на постели, произносила слова непонятные, вздрагивала. Пафнутьевна достала у киота святой водицы, окропила ее Фиму, и та стихла. Светлый сон наплывал на нее; ей снился лес зеленый, весь залитый солнечным блеском, весь усыпанный яркими цветами и сочными, спелыми ягодами земляники. И вот идет она по этому лесу, как в прежние детские годы, но не одна – с нею он, государь молодой, такой, каким был в ту минуту, как впервые

глянул на нее своими чудными очами из-за двери царевниной палаты. Нет на нем златотканой царской одежды, простой кафтан суконный да черная смушковая шапочка. Но так он милее еще, в этом простом наряде, – таким она его полюбила. И бредут они по лесу зеленому, собирая цветы да ягоды. Крепко прижимает он ее к сердцу, шепчет на ухо речи любовные, а солнце так ласково, так приветно светит, и птицы над головами их поют, заливаются. Но кто это идет им навстречу? Кто идет, понунив голову? Это он... Митя... Вот он подошел к ним, вот глянули на нее его очи знакомые, глянули с несказанной укоризной, – и сжалось ее сердце тоскою. И то же... глядит она, а у него на шее полоса кровавая... Не своим голосом крикнула Фима и опять заметалась на постели, и опять кропит ее святой водою Пафнутьевна. Но, меняясь, одна за другою исчезают страшные и светлые грезы; глубокий сон обуял Фиму. Дыхание ее ровно. Успокоилась было и Пафнутьевна, да вдруг слышит – подбирается кто-то к дверям опочивальни; вот скрипнула дверь, выглянуло лицо чье-то да сейчас же и пропало. Вскочила Пафнутьевна, в коридорчик выглянула. Никого нету, тьма кромешная...

– Изверги! изверги! – шепчет старуха и садится опять сторожить свое ненаглядное дитяtko.

Утром рано проснулась Фима – бодрая и веселая. Все ночные страхи пронеслись бесследно. Она думала теперь только об одном, что вот скоро увидит жениха своего, а потом пройдет еще несколько дней, и настанет жизнь райская, блаженная.

Царевны, боярыни и служанки Фимы собрались в ее опочивальню, чтобы присутствовать при ее наряде.

Прежде всего нужно было убрать голову.

Сама боярыня Годунова взялась причесать Фиму, но дело это как-то не спорилось в ее старых дрожавших руках. Она должна была отказаться.

– Кто тут из всех из вас искусница косу заплетать да перевивать жемчугом? – спросила она, обращаясь к постельницам.

Из среды их, скромно опуская глаза, вышла Манка Харитонова.

– Не раз я покойную государыню причесывала, да и царевен тоже... – проговорила Манка. – И за искусство мое государыня к руке меня жаловала... Прошу дозволить мне причесать красавицу-царевну; так уж сделаю – любо-дорого посмотреть будет.

Все припомнили, что действительно постельница Харитонова мастерица этого дела, только Фима, предупрежденная шутихой относительно Манки, вопросительно взглянула на Пафнутьевну.

– Да уж позвольте мне, боярыни, причесать мое дитяtko. С детства ее кажинное утро причесывала, авось справлюсь, – проговорила старая мамка.

Она уже взялась за гребень, но Годунова отстранила.

– Не суйся, старуха, – сказала она, – где же тебе знать, как с жемчугом управляться, ты его небось никогда и не видывала.

Годунова взяла из ее рук гребень и передала его Манке.

Та, вся вспыхнув и блеснув глазами, принялась за дело. Живо расплела она длинные и густые волосы Фимы, взяла несколько ниток жемчуга и начала плести косу, искусно вплетая в нее жемчуг. Волосы Фимы так и извивались, будто живые, под ловкими пальцами постельницы. Вдруг царская невеста слабо вскрикнула:

– Ой! как ты мне стянула волосы, отпусти немного!

– Что ж это, государыня царевна, никак нельзя иначе. Гляньте-ка, боярыни, разве плохо я делаю косу?

И она продолжала свою работу.

Фима молчала. От прикосновения гребня и горячих рук Манки на нее находило какое-то полузабытье. Она отдалась не то мыслям, не то грезам – и уже не замечала, как сильно стянуты ее волосы, как кровь начинает приливать к голове и на висках бьются жилы.

Вот коса готова, ниже колен она падает, отливаясь золотом и сверкая жемчугом. На лоб красавицы надета тяжелая повязка, вся шитая золотом, с падающими вниз большими бляхами и с сетчатыми длинными золотыми подвесками, унизанными жемчугом.

Затем с большою торжественностью стали одевать Фиму. Надели на нее длинную, тонкую белую сорочку, а потом другую из алой шелковой материи, шитой золотом и унизанной опять жемчугом и дорогими камнями. Затем принесли телогрею распашную с широкими рукавами. Но наряд невесты был еще далеко не кончен. Принесли несколько ларцов с тяжелыми ожерельями, серьги, запоны, перстни...

Мало– помалу Фима начала чувствовать, что и стоять ей тяжело в этом торжественном, дорогом наряде. Массивная повязка сжимала ей лоб, огромное ожерелье давило горло и оттягивало плечи, а между тем царевнам и боярыням все казалось еще мало, они не знали, чем уж и украсить Фиму.

Никогда еще не испытанная головная боль усиливалась с каждой минутой; как свинцом была голова налита, а тут еще принесли венец тяжелый и, чтоб как-нибудь не упал он, плотно надели.

– Я головы повернуть не могу, у меня в глазах рябит! – сказала Фима.

– Ну что это ты, государыня царевна, – наперерыв друг за другом вскричали боярыни, – уж и тяжело!... А хотя бы и так, потерпи немного, зато и наряд же! одних камней да жемчуга целых два ларца опростали!

Манка Харитоновна стояла неподвижно, будто любуясь Фимой. Глаза ее блестели, на губах время от времени мелькала торжествующая усмешка.

Пафнутьевна ходила кругом своей царевны, любовалась ею, и в то же время на сердце у нее было как-то тоскливо, будто она чего

боялась, а чего – и сама не знала...

Фиму повели в палату, где уж дожидались ее и царь, и бояре. Она глянула назад, на Пафнутьевну, которая стояла и крестила ее вслед дрожащей рукою. Ей захотелось сбросить с себя всю эту мучительную роскошь, растоптать эти камни, этот жемчуг, это пудовое золото... ей захотелось броситься на шею мамке и умолять ее, чтобы она унесла ее куда-нибудь, дальше, дальше...

Что это? отчего так страшно? Отчего такое мученье? Перед глазами ходят зеленые круги... Она шатается.

Две боярыни ведут ее под руки. Вот и палата. Народу видимо-невидимо, но она никого и ничего уж не видит, в голову стучит точно молотком, совсем отяжелела голова, так сама и клонится; а между тем держать ее нужно прямо, не то упадет венец, что тогда будет!... Голова горит, а руки, ноги, все тело – леденеют, что-то сосет под сердцем, что-то подступает к горлу, и на шее жилы надуваются.

«Где же он, где?» – думает Фима и ищет глазами царя. Вот он... он направляется к ней. Вот пришла торжественная минута... Она различает ризы собравшегося духовенства. Он здесь... Он возле нее. Он протягивает ей руку, а за ним опять это ненавистное бледное лицо с черной бородою. О, с какой страшной злобой глядят на нее пронзительные глаза боярина Морозова!... Вдруг свет меркнет перед нею, все сливается... Зеленые круги делаются красными, потом желтыми – и ничего не видно... Фима пошатнулась и с громким криком упала на пол.

Трудно передать то впечатление, какое произвел этот крик, это падение царской невесты на всех собравшихся в палате. Молодой царь, за минуту перед тем с обожанием и восторгом глядевший на свою Фиму, сам вскрикнул и бросился к ней, стал поднимать ее.

Она лежала в своем тяжелом царственном наряде совсем почти бездыханная. Венец спал с головы ее, все лицо налилось кровью.

Боярин Морозов подал знак, чтоб призвали женщин и унесли царевну.

– Вот горе! – громким голосом сказал он. – Недаром в тереме поговаривали, будто царевна испорчена... а я тем слухам веры не дал... думал, то бабьи выдумки... ан нет! Только Бог милостив, не допустит Он конечного несчастья и гибели! Вовремя оказалось, что



у царевны немочь падучая! – Он оглянул собравшихся торжествующим и зорким взглядом.

«Немочь падучая!» – это слово мигом облетело всю палату, повторилось всеми, и не нашлось ни одного человека, который бы выказал сомнение, который решился бы объяснить обморок царской невесты какой-нибудь случайной причиной, который обратил бы внимание на то, до какой степени затянуты ее волосы, как тяжел головной убор ее. Все были рады найденному слову, все были рады этой падучей немочи, которая обещала новое избрание, новую возможность поправить дела и тех и других. Один только человек, долго неподвижно стоявший в углу палаты и бессмысленно озиравшийся, вдруг вскрикнул:

– Немочь падучая! Лжете вы все! Здорова дочь моя, никогда никакой за ней не бывало немочи!

Раф Родионович с искаженным отчаяньем лицом, расталкивая всех, кинулся к Фиме, наклонился над нею и быстро сорвал повязку с головы ее. Он увидел на лбу ее яркую красную полосу; а Фима в то же время вздохнула и открыла глаза. Подбежали взволнованные боярыни и, прежде чем Раф Родионович вымолвил слово, схватили ее и унесли в терем.

Царь закрыл лицо руками и зарыдал как малый ребенок.

## XIV

В тот же день слух о происшествии с царской невестой разнесся по всей Москве. Одни толковали, что Всеволодские своими хитростями скрыли от царя болезнь дочери, что она давно уже испорчена, другие не верили этому и вспоминали давно позабытую историю Марьи Хлоповой. «Все это бояре-злодеи, должно полагать, опоили, отравили девицу неповинную!!»...

Всюду тихонько, на ухо друг другу передавалось имя боярина Морозова как главного виновника этого события. Московские жители давно не любили его.

Весть о печальном происшествии дошла и до Дмитрия Суханова, который все эти дни не выходил из дому и не смел показываться на глаза Всеволодским после последнего сделанного ему приема. Но услышав от своего хозяина про то, что толкуют в народе, он как сумасшедший бросился в дом Куприяновой.

Там встретила его сама Куприянова и, взглянув на ее отчаянную фигуру и заплаканные глаза, он сразу убедился, что действительно с Фимой случилось что-нибудь неладное.

– Что, что такое? – повторял он прерывающимся голосом. – Ради Христа, не мучь, скажи...

– Ах, батюшка, – завопила Куприянова, – такое стряслось, что ажио разум мутится... Фиму-то опоили, что ль, чем, перед царем и боярами криком закричала и упала как мертвая. Ну, сейчас по всему двору говорить стали: «Порченная!»... будто бы Раф-то Родионыч да Настасья Филипповна знали про то давно, да скрыли... Набежали ко мне сюда люди ратные – Раф-то Родионыч в Кремле был – так Настасью Филипповну схватили да потащили. Что уж там такое теперича с ними – я и не ведаю! Хотела бежать да спрятаться, ан нет, где уж тут, не спрячешься, а и меня потянут, чует сердце мое, что потянут, пытать станут... Вот времена-то... И за что ж это?

Она заломила руки и громко завопила. – Меня-то за что же? Я их по родству да по доброте моей приютила, а из-за них вот теперь пропадать мне и со всем домом, что ж это за напасть такая! батюшки!...

Суханов ее уж не слушал. Он бросился вон из дому. В Кремле расспрашивал всех кого мог, и все ему повторяли одно и то же: «Родителей девицы той пытать будут – знамо дело, обман государя не шутка... вина великая, а с ней что станется, того никому не ведомо».

Пробовал было Суханов пробиться дальше во дворец, но об этом нечего было и думать. При первом неосторожном слове его схватили бы, и тогда ничем уж и никому он не мог бы помочь. И побежал он обратно к себе, чтоб посоветоваться с Провом. А Пров его дожидался с новой вестью.

– Не ведаю, – говорил Пров, – кто зачинщик в том деле, кто нашу боярышню испортил, а знаю одно – причастен тут немало Осина. Выведаль я, где он скрывается. У знахаря в слободе Стрелецкой. И вместе с тем знахарем каждый день они то в Кисловку, то в Кремль ходят, – все разузнал.

Недолго думая, Дмитрий заставил Прова вести себя в Стрелецкую слободу и указать, где там живет знахарь. Дело было уж к вечеру, как дошли они до избы Мишки Иванова. По всем признакам хозяина не было дома. Немая старуха, видно, тоже ушла куда-нибудь или спала крепко. Как ни стучался Дмитрий, никто изнутри не отзывался.

– Так подождем, – сказал Пров, – вернутся же они... Уж теперь не уйдет он из наших рук, хоть и заколдовал себя, а не уйдет...

Они стали бродить по опустевшим темным улицам.

Прошло с полчаса времени. И вот различили они во мраке как будто две фигуры. Два человека действительно направлялись к избе знахаря. Дмитрий и Пров прокрались за ними. Вот они у калитки, стучат в нее, но им никто не отпирает.

– Эк, чертова баба, – говорит один из стучащих, – напилась, видно, да и дрыхнет, что с ней станешь делать. Придется через забор лезть, не ломать же калитку.

– Да постой, постучи еще, может, откликнется.

Дмитрий и Пров так и вздрогнули – они узнали голос Осины. Дмитрий уж хотел броситься на врага своего, но Пров его удержал.

– Постой, – шепнул он, – постой, время терпит, теперь не уйдут уж, Слушай...

– Право слово, через забор полезу, – говорил Мишка, – прозяб больно, мороз вишь ты какой!

– Ишь, прозяб! – перебил его Осина. – А мне нынче хоть всю ночь простоять на морозе, так не замечу – сердце согрелось, вот что! Вся душа кипит, радуется. Ведь я уж, признаться, думал – пропало наше дело, – ан нет, вывезла кривая!... Большой ты, брат, знахарь – да и со своею знахаркою, кумою Манкой. Может, уж винится теперь на дыбе Раф Всеволодский, плетет околесную про немочь своей доченьки...

Все стало ясно для Дмитрия. Не помня себя, выхватил он нож, и прежде чем Осина успел произнести слово, навалился на него и запустил этот нож ему в грудь по самую рукоятку.

Пров между тем в свою очередь кинулся на Мишку и, не давая ему опомниться, крепко-накрепко стянул ему кушаком руки за спиною. Мишка завопил благим матом, но Дмитрий, бросив заколотого насмерть и только слабо хрипевшего Осину, приспел на помощь Прову, и оба они всунули целую рукавицу в рот Мишке.

– Что теперь делать? – спросил Пров.

– Вестимо что, одно и осталось: потащим его, потащим в Кремль, а коли словят нас дорогой, так все одно, повинимся, хоть умрем лютою смертью, а доведем до государя это дело...

Но их план не мог удалиться; отчаянный крик Мишки был услышан. Из соседних домов выбежали люди. Суханов и Пров не стали отбиваться, а дали себя связать и рассказали собравшимся, в чем дело. Дмитрий повинился в убийстве ведомого беглого вора и разбойника Якова Осины, а знахаря Михаилу Иванова, которого соседи тотчас же признали, обвинил в порче царской невесты. Сбежавшиеся люди, услышав про такие дела, только развели руками.

Царем овладело такое горе, что его приближенные не знали, что с ним и делать. Он заперся у себя в опочивальне, не принимал пищи, рыдал и рвал на себе волосы. И в этом отчаянии он был уже не тем разумным, почти окончательно созревшим юношей, каким его до сих пор все знали. Он снова превратился в ребенка, совсем потерял волю, чувствовал себя каким-то придавленным, бессильным перед разразившимся над ним несчастьем. В сознании этого бессилия, в сознании полной несправимости случившегося его постарались утвердить Борис Иванович Морозов и духовник. Только они одни среди придворных не растерялись, а напротив, более чем когда-либо владели всеми своими поступками и словами.

Морозов – в последнее время, то есть со дня избрания невесты, как-то стушевавшийся и в глубокой тайне ведший свою интригу – теперь опять выступил на первый план, опять явился полноправным хозяином во всем дворце. Царь не хотел никого видеть – всех гнал от себя. Но Морозов его не слушался, оставался в опочивальне, приводил с собою духовника, и они кончали тем, что царь поневоле должен был их слушать. И он их слушал, хотя, конечно, многого не мог разобрать в том, что они ему говорили. Все его мысли, все его чувства были заняты одним: его любовью, еще более выросшей и окрепшей за эти тяжелые дни.

После нескольких часов немого отчаяния он вдруг вскакивал и кричал: «Нет, хочу ее видеть! Пустите меня к ней... зачем вы меня удерживаете, как смеее удерживать?! Я хочу... что там с нею?! Хочу ее видеть непременно!...»

Несмотря, однако, на грозные слова его, Морозов и протопоп все же продолжали его удерживать силой, запирали перед ним двери, говорили, что это никак невозможно. И бедный царь превращался в несчастного и послушного ребенка, почему-то вдруг убеждался, что они правы, что ему действительно никак нельзя ее видеть, что ему нечем бороться с тем страшным врагом, который нежданно-негаданно его сломил и осилил – с мнимой болезнью Фимы.

Так прошло три дня. Бояре не дремали. Теперь все уже действовали заодно с Морозовым, для всех новая царица и родня ее были ненавистны. Морозов с протопопом держали царя взаперти, лишили его всякой возможности разобраться дело и убедиться в обмане, убедиться в том, что Фима совсем здорова и что никакой падучей немочи в ней нет и никогда не было.

Бояре под руководством того же, теперь более чем когда-либо энергичного Морозова, делали свое дело, уже не первое в летописях царского семейства – чинили спрос и расправу Всеволодским. С этим делом нельзя медлить: невольно являлось опасение – а вдруг царь не выдержит, вдруг в нем опять проявится та сила, на которую, несмотря на свою молодость, он уже не раз показывал себя способным.

У Всеволодских было мало защитников, но все же они были. Пушкин с друзьями своими и единомышленниками сделали все, что могли, для несчастного семейства – они избавили Рафа Родионовича и Настасью Филипповну от жестокой пытки, которая им грозила и о неизбежности и необходимости которой шла речь между боярами. Пушкин сумел найти доступ к царю, несмотря на всю зоркость Морозова и протопопа; он не смел открыть ему правды, да и сам, может быть, не знал ее; к тому же он еще раз убедился в силе и хитрости Морозова и опасался, слишком уж явно вредя ему, навлечь на себя большие беды. Но он все же сделал многое – он прямо спросил царя: пытать ли Всеволодских и что делать с девицей?

– Бога побойтесь, изверги! – закричал, весь в слезах, Алексей Михайлович. – Чтобы не было никакой пытки, а коли будет, коли кто осмелится без моего ведома сделать хоть малейшее зло Всеволодским, так вы мне головами за это ответите!

Если бы не вошел в ту минуту к царю Морозов, если бы тут не было протопопа, то, быть может, и все дело Всеволодских повернулось бы иначе, но Морозов успел зажать рот Пушкину, успел заставить выйти его от царя. Однако государево слово было произнесено, им нельзя было пренебречь – и Всеволодские были спасены. Их не пытали, только спешили сослать подальше и назначили опальному семейству в жительство сибирский город Тюмень. Невесте царской, именем государя, пожаловали весь приготовленный к свадьбе постельный убор: пуховик в камчатной червчатой наволоке, подушку, ковер под постелью, скамейку сафьянную и богатое одеяло из

кизылбашской золотной камки на соболях с горностаевого опушкою. Оставили ей и перстень царский и ширинку.

Прошло еще несколько дней, и вдруг Пушкин снова явился к государю с очень важным известием.

– Всеволодские невинны, – сказал он, – никакой немочи, никаких припадков в их дочери не было, это здесь, в тереме, ее испортили!

И он рассказал царю все, что узнал из показаний Дмитрия Суханова. С изумлением глядел Пушкин на царя. Он ждал, что после этого рассказа юноша встрепенется, велит удержать на следующий день уезжавших Всеволодских; но царь не встрепенулся, он находился в состоянии полнейшей апатии. Он был снова и уже совершенно в руках Морозова, он уверовал в невозможность мелькнувшего ему счастья, знал, что теперь уж никто не допустит его соединиться с больною или порченою девушкой, что против такого неслыханного брака восстанет вся земля Русская, что патриарх откажется венчать его. Все это хорошо и ловко было ему натолковано. Он примирился со своим несчастьем, начал искать утешения в молитве и навсегда отказался от всякой борьбы. В том подавленном, беспомощном состоянии, в котором он был теперь, только одним и мог он выказать перед Пушкиным свою всегдашнюю разумность и справедливость; выслушав внимательно рассказ его, он сказал: «Дмитрия Суханова за убийство тайно скрывавшегося отъявленного разбойника Осины не судить и немедленно же выпустить на волю; крестьянина Никиты Ивановича Романова Мишку Иванова за чародейство, косный развод и наговор пытаться накрепко».

Но и это решение царское сумел значительно переиначить все сильный Морозов.

Суханов и Пров действительно были выпущены на все четыре стороны, но Мишку Иванова не пытали, а только сослали в Кириллов монастырь и велели там держать его под крепким началом с великим береженьем. Кириллов монастырь очень жаловал Бориса Ивановича Морозова за его богатые пожертвования, настоятель и братия были его истинными благоприятелями. Мишка Иванов там ничем не мог повредить боярину.

Что же касается исполнительницы гнусного заговора, погубившего царскую невесту, Манки Харитоновой, – ей посчастливилось еще больше, чем знахарю. Каким образом и с чьей

помощью Мишка «испортил» бывшую царевну – не выяснилось на следствии, которое вел главным образом сам Морозов. Манка еще некоторое время оставалась в тереме, а затем, конечно, богато одаренная, выехала из Москвы. Дальнейшая судьба ее осталась неизвестной.



Опальная семья Всеволодских готовилась в сопровождении назначенной стражи выехать в дальнюю, тяжелую дорогу. Пушкин до конца оказался верным своему расположению к Рафу Родионовичу. Надеялся ли он еще как-нибудь поправить дело, повлиять со временем на царя, надеялся ли на возвращение царской невесты с дороги опять в Москву – Бог его знает, только он испросил разрешение держать Всеволодских у себя на дому и избавил их от многих унижений и оскорблений.

Раф Родионович, сгорбившийся и одряхлевший, как после долгой и тяжелой болезни, все дни и ночи молился Богу и этим только спас себя от полного отчаяния. Фима после своего несчастного обморока пришла в такое состояние, что можно было бояться за ее рассудок. Но от сумасшествия ее избавило новое горе, избавила болезнь и помешательство Настасьи Филипповны, которая не могла вынести семейного несчастья. Ухаживая за ослабевшей заговаривавшейся матерью, Фима нашла в себе новые силы. Она невольно должна была забывать свои страдания. Пафнутьевна вместе с нею неустанно ухаживала за своей госпожой и шептала Фиме:

– Терпи, терпи, дитяtko! Господь посылает, Господь отнимает – терпи, не ропщи – так Богу, знать, угодно!

И Фима терпела и не роптала. В редкие часы, отходя от матери, которая стонала и произносила непонятные, дикие речи, Фима начинала думать. И вот все чаще и чаще приходило ей в голову, что это послано ей в наказание за то, что она обманула Митю, за то, что полюбила другого. Видно, она всей жизнью должна будет искупить этот тяжкий грех свой. Но Боже! что же ей было делать?!

Перед нею мелькал образ навеки потерянного для нее молодого царя. Поднималась вся сила, все блаженство любви, все мучения, ее душили слезы, ее давило отчаяние.

Но некогда было ей думать о своем горе – мать стонала снова, мать металась, там нужна была ее помощь, потому что только один ее голос успокаивал несчастную старуху, только ее прикосновение утоляло ее муки.

Что касается Андрея Всеволодского, он спокойнее всех отнесся к семейному несчастью. Его горе не заключалось в том, что сестра и отец подверглись опале, что вместо роскоши, блеска, почестей всех их ожидает тяжелая ссылка, всякого рода лишения, полное бедствий житье в дальнем сибирском городе. Его горе еще прежде этого стряслось над ним: он обманулся в своей возлюбленной, в Маше Барашевой. Невольно подслушал он один ее разговор с матерью, из которого ясно увидел, что она его не любит и что если и желает быть его женою, то единственно ради свойства с царским семейством. Это было накануне обморока Фимы. Услышав из соседней горницы слова ужасные, он убежал тогда, даже не показавшись Барашевым, и решил, что больше к ним уже не вернется. Так что же ему было в том, что теперь предстояло в Сибирь ехать?! Чем хуже, тем лучше, только бы скорее и подальше отсюда! Он деятельно приготавливался к отъезду и выказал доброе чувство, всеми мерами старался успокоить старика отца и вместе с Фимой и Пафнутьевной ухаживал за матерью.

Срок, назначенный для отъезда Всеволодских, приближался. Страдания Настасьи Филипповны утихли, она по временам уже вставала с постели и довольно бодро ходила по горнице, только рассудок к ней не возвращался. По-прежнему говорила она непонятные речи, видела перед собою то, чего не было в действительности. То ей представлялось, что она у себя в деревне, и она отдавала приказания по хозяйству, то вдруг чудилось ей, что она едет во дворец к своей дочери-царице. Она называла Фиму государыней, целовала у нее руку и с важным видом толковала о боярах и боярынях, приезжавших к ней на поклон во дни кратковременного их счастья. И Фима, и Раф Родионович, и Андрей с нетерпением ждали отъезда. Теперешняя жизнь здесь, в Москве, была невыносима; скорее хотелось вырваться отсюда, хотелось дальней, хотя бы и мучительной, дороги; она все же поможет забыться. К тому же у всех мелькала надежда, что, быть может, новая обстановка благотельно повлияет на Настасью Филипповну, вернет ей рассудок. Но не суждено было Всеволодским благополучно выехать – их подкараулила еще новая утрата.

Хотя Пафнутьевна после переезда царской невесты из дворца и казалась довольно спокойной, хотя она всячески уговаривала Фиму и помогала ей ухаживать за матерью, эта бодрость и спокойствие

старухи были только кажущимися. Никто не знал, какой удар она вынесла и чего он ей стоил. Она давно уже, не первый десяток лет, положила все свои силы в господ своих, а Фима была всегда ее заветным сокровищем. Она будто помолодела, будто возродилась, когда увидела свое ненаглядное дитяtko на вершине земных почестей. Ведь она заранее прочила ей такую долю, верила, знала и ждала, когда все сомневались, – вот ее вера оправдалась – Фима будет царицей! Да что царицей! Фима будет счастлива. Старуха видела и чувствовала все, что произошло с Фимой, она поняла ее любовь к царю молодому... Ей оставалось только сохранить свое дитяtko до заветного часу... а она не сохранила, не уберегла от злых людей... Ни одной минуты с тех пор не могла заснуть старуха, не могла проглотить куска хлеба. На людях крепилась, особенно перед Фимой, а как останется одна – залется слезами, все себя винит, себя проклинает в несчастье Фимы. Такая жизнь не могла продолжаться, и без того уже дряхлый организм не выдержал. За три дня до предполагавшегося отъезда Пафнутьевна почувствовала приближение смерти. Когда она объявила об этом Рафу Родионовичу и Фиме, те не хотели ей верить, но пристальный взгляд на нее сказал им все.

Послали скорее за священником. С полным сознанием и торжественностью исповедалась и приобщилась Пафнутьевна, а затем слабым голосом кликнула: «Фима!»

Та подошла к ее постели.

– Прости меня, моя золотая, не уберегла я тебя... погубила, – едва слышно прошептала старуха.

Фима наклонилась к ней, хотела ее успокоить; но она уже была бездыханна. Горько, горько зарыдала Фима. Она не думала, что у нее может быть еще новое горе, которое так потрясет ее...

Пришел наконец день отъезда; через час они тронутся. Вдруг дверь покоя, в котором находилась Фима, только что похоронившая Пафнутьевну, отворилась – и на пороге показался Суханов. Нетвердым шагом подошел он к Фиме. И вдруг из глаз его брызнули слезы, и он упал ей в ноги.

– Митя! Господи, что с тобой?! – проговорила грустным голосом Фима.

При виде старого друга и первого жениха она не испытала нового волнения, ни одно новое чувство, ни одна новая мысль не пробудились

в ней – ей только жаль было смотреть на его бледное, исхудавшее лицо, ей тяжело было видеть эти его слезы.

– Митя, не плачь, встань, что с тобой?

Он поднялся на ноги и остановился перед нею, жадно в нее вглядываясь. Его слезы высохли, он стоял молча и только смотрел на нее.

После всех мучений, после горя и отчаяния пришло-таки счастье. И это счастье заключалось в том только, чтобы ее видеть.

– Фима! – прошептал он наконец. – Я свободен, я еду за вами.

Она вздрогнула.

– Зачем? Не надо! Нет, Боже сохрани тебя ехать... вернись к себе... забудь меня... я не то думала... о Господи... проклинай меня!... ненавижь меня... может, я точно преступница... может, за грехи мои несу наказание... но знай... знай – навсегда, на всю жизнь... что бы ни случилось со мною – я люблю его одного, отнятого у меня... люблю и буду любить до смерти!...

Она взглянула на царское кольцо, которое никогда не снимала с пальца, подняла свою руку, как к святыне, прижалась губами к кольцу этому и горько, безнадежно заплакала.

Дмитрий по-прежнему с любовью глядел на нее.

– Я давно это знаю, – сказал он, – давно все понял. Зачем стану я проклинать тебя? Но вот я опять говорю тебе: позволь мне только всю жизнь быть близ тебя... позволь мне служить тебе по моим силам... Неужто откажешь мне в этом?... Я знаю доброту твою... Фима, взгляни на меня... пожалей меня хоть немного... не гони меня... не гони от себя, Фима!

Она подняла глаза свои, увидела доброе, с детства близкое, с детства родное лицо. Она слабо махнула рукою и произнесла едва слышно:

– Делай как знаешь, Митя... Награди тебя Господь за доброту твою...

Через час Всеволодских вывезли из Москвы. Суханов с Провом в тот же день отправился в Касимов, устроил там дела свои и ранней весною уже нагонял Всеволодских по Сибирской дороге.

## XVII

Прошел год. Глубоко горевал государь; но молодость взяла свое – мало-помалу высохли сердечные слезы. Неудержимо, хоть и бессознательно, хотелось жизни и радости. Морозов изощрял весь свой разум, всю свою ловкость, чтобы удалять царя от печальных мыслей. Он тотчас же после высылки из Москвы Всеволодских почти насильно увез его на медвежью охоту. Он очень верно соображал, что эта любимая царская забава лучше всего рассеет его.

Действительно, Алексей Михайлович при первой же облаве оживился. И прежде смелый и бесстрашный, теперь он даже с наслаждением страстным искал опасности, шел на зверя без оглядки. Но от всякой беды охраняли царя зоркие охотники. И одна облава сменялась другою.

Пришла весна, а с нею и другие забавы – охоты соколиные да походы по подмосковным монастырям и вотчинам.

Морозов был при царе неотлучно и уступал свое место только духовнику-протопопу. Оба они теперь решили, что пришло время напомнить Алексею Михайловичу о необходимости его скорой женитьбы. При первом же слове об этом царь заплакал и отвечал им, что он не может и подумать о таком деле, что судьба и злые люди отняли у него любимую невесту – и если нельзя ей вернуться, то другой он не хочет.

Морозов и протопоп ничуть не смутились таким ответом – они его, конечно, ожидали – и продолжали свои увещания. Против их неопровержимых доказательств царю возражать было нечего, а насчет бедной Фимы они уверили его, что болезнь ее неизлечима и что о возвращении ее нечего и думать.

Почти каждый день возвращались царские советники к этому разговору и кончили тем, что снова начали восхвалять красоту и добродетели Марьи Ильинишны Милославской. Долго крепился Алексей Михайлович, но наконец счел себя вынужденным дать согласие на объявление своей царской радости, то есть женитьбы.

И опять, словно улей пчелиный, зажужжал и засуетился терем, и опять разгорелися страсти царедворцев. Но царедворцы, несмотря на

все свои интриги, были теперь более, чем когда-либо, бессильны перед Морозовым. Он чуть было не погубил себя своею оплошностью при первом выборе царской невесты и теперь глядел в оба, был во всеоружии.

Недогадливые бояре, узнав о том, что царь выбрал Марью Милославскую, поговаривали между собою: «Хитер Бориска, ловко устроил дело – породнить с государем близкого себе человека... Ну да еще посмотрим: Илью-то Милославского мы знаем – кто ему больше дает, тот и друг его, так мы-то, дружно взявшись, Илью еще, может, и перетянем на свою сторону...»

Но вот, вслед за известием о царской женитьбе, по дворцу разнеслась и другая новость: Борис Иванович Морозов женится на младшей сестре будущей царицы, Анне Ильинишне, и свадьба его будет через десять дней после государевой. Бояре ударили себя по лбу, почесали затылки и грустно опустили головы. Они наконец поняли, что их дело проиграно окончательно, что им не придется тягаться с Морозовым.

Новая прекрасная невеста, новая «царевна» поселилась в покоях, где так недолго довелось погостить Фиме. Опять с тайною завистью и льстивыми речами кланялись красавице верховые боярыни, целовали и миловали ее царевны. И, может быть, среди суматохи этих шумных дней никому и на мысль не пришло вздохнуть по бедной касимовской невесте. Вздохнула по ней одна только дурка-шутиха Катеринка – вздохнула она, капнули из глаз ее черных горячие слезинки и тихо покатались по иссохшей щеке, смывая с нее белила да румяна. А потом тряхнула шутиха своей высокой кикой, зазвенела бубенчиками – и по всему терему промчался ее дикий хохот...

«Царская радость» происходила в великой тишине и благолепии. Теперь уж сам Борис Иванович озаботился, чтобы не случилось какого-нибудь нового несчастья, измышленного его врагами. Теперь в тереме повсюду были «морозовские глаза и уши» – и он знал каждое слово, каждое движение своих противников.

Пришел день венчания. Не струны и не трубы, как это бывало в прежние годы, раздавались во дворце кремлевском, а пение церковное. И сотворена была такая перемена по приказу благочестного и «тишайшего» государя.

Наступил час вечерний. С обычными церемониями и обрядами отвели новобрачных в опочивальню. Оставшись наедине, они прежде всего упали на колени перед иконами и помолились; затем молодой государь в первый раз пристально всмотрелся в свою новую подругу. Он увидел нежное, прекрасное лицо с полуопущенными, стыдливо избегавшими его взглядов глазами. Роскошный, но неуклюжий наряд уже не скрывал пышно развившихся форм ее девственного тела...

Шибко забилося сердце царя-юноши, новое чувство проникло в него, щеки зарделись румянцем, и страстным движением привлек он к себе невесту. Она вздрогнула, спрятала на груди его лицо свое. Горячими поцелуями осушил он сладкие девические слезы...

Ночь глубокая. На богатом мягком ложе заснули новобрачные. Тих и крепок сон государыни Марьи Ильинишны; но царю не спится спокойно. Неведомо откуда налетела нежданная греза и растет самовластно... Фима... Фима! снова явилась она как живая, во всем блеске красоты своей несказанной, и первая любовь юная, со всеми своими заветными чарами, с блаженством и мукой, опять воскресла в душе юноши.

«Фима желанная!» – шепчут его губы. И дальше, дальше несет его греза, и чудится ему страна суровая, далекая, вьюга и мороз лютый. И среди этого холодного мрака опять тот же милый образ... Она все так же прекрасна, но побледнели ее нежные щеки, померкли от слез горячих ее светлые очи... целует она перстень золотой, целует ширинку, царем подаренную, и опять плачет... До конца жизни безрадостной не расстанется она с ними и умрет верною первой и последней любви своей...

Просыпается государь в тоске великой. С изумлением и страхом глядит вокруг себя. Рядом с ним молодая подруга; расплелись и черными змеями вьются ее косы по пуховой подушке, высоко поднимается грудь лебяжья белоснежная и ждет поцелуев...

Но чужой и далекой кажется теперь государю эта навеки данная ему красавица. Не ее имя он шепчет, не по ней льются его слезы в тихую ночь «его государевой радости»...